

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

СОВЕТСКАЯ  
**ТЮРКОЛОГИЯ**

La Turcologie soviétique  
Soviet Turkology  
Sowjetische Türkologie



**2**

**БАКУ . 1990**

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ССР

---

# С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

*Выходит 6 раз в год*

**№ 2**

*МАРТ—АПРЕЛЬ*

БАКУ — 1990

**ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR**  
**ACADEMY OF SCIENCES OF THE AZERBAIJAN SSR**

---

**СОВЕТСКАЯ ТУРКОЛОГИЯ**  
**LA TURCOLOGIE SOVIETIQUE**  
**SOVIET TURKOLOGY**  
**SOWJETISCHE TURKOLOGIE**

Редакционная коллегия: главный редактор Э. Р. Тенишев (Москва), зам. главного редактора С. Н. Иванов (Ленинград), первый зам. главного редактора А. М. Мамедов (Баку), зам. главного редактора К. М. Мусаев (Москва), И. Х. Ахматов (Нальчик), А. А. Ахундов (Баку), Р. Б. Бердибаев (Алма-Ата), Г. Ф. Благова (Москва), Н. З. Гаджиева (Москва), Э. А. Грунина (Москва), Е. З. Кажибеков (Алма-Ата), И. В. Кормушин (Москва), Л. С. Левитская (Москва), Т. Д. Меликов (Москва), Б. А. Набиев (Баку), В. А. Назаров (Ташкент), Е. А. Поцелуевский (Москва), К. К. Султанов (Москва), З. Г. Ураксин (Уфа), А. А. Чеченов (Москва), А. М. Щербак (Ленинград).

Ответственный секретарь  
Н. Г. Наджафов

«Советская тюркология», 370143, Баку, пр. Нариманова, 31. Академгородок. Тел.: 39-24-57, 39-22-86.

Editorial board: editor-in-chief E. R. Tenishev (Moscow), assistant editor S. N. Ivanov (Leningrad), the first assistant editor A. M. Mamedov (Baku), assistant editor K. M. Musayev (Moscow), I. H. Akhmatov (Nalchik), A. A. Akhundov (Baku), R. B. Berdibayev (Alma-Ata), G. F. Blagova (Moscow), N. Z. Gadzhiyeva (Moscow), E. A. Grunina (Moscow), E. Z. Kazhibekov (Alma-Ata), I. V. Kormushin (Moscow), L. S. Levitskaya (Moscow), T. D. Melikov (Moscow), B. A. Nabiyeu (Baku), B. A. Nazarov (Tashkent), J. A. Potseluyevsky (Moscow), K. K. Sultanov (Moscow), Z. G. Uraksin (Ufa), A. A. Chechenov (Moscow), A. M. Scherbak (Leningrad).

Executive secretary  
N. G. Nadzhafov

«Sovjetskaja tjurkologija», Akademija nauk  
Azerbajdžanskoj SSR,  
370143, Baku, prosp. Narimanova, 31.  
Tel.: 39-24-57, 39-22-86.

*The journal is published 6 times a year. Subscriptions should be sent to «Mezhdunarodnaya Kniga (Moscow Г-200). Annual subscription 6 roubles 60 kopeks.*

## СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Г. Ф. БЛАГОВА

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ КАК СРЕДСТВО  
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТА «БАБУР-НАМЕ»

(ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ)

*Памяти Виктора Максимовича  
Жирмунского*

Исследовав ритмико-синтаксический параллелизм как один из важнейших приемов организации текста тюркских народных эпических сказаний, В. М. Жирмунский показал его организующую роль в генезисе и структуре древнетюркского народного стиха [1. С. 5 и след.]. При этом чередование стихотворных и прозаических партий, каждая из которых обнаруживает ритмическое членение путем синтаксического параллелизма, ученый считал «традиционным типом эпической поэзии тюркских народов» [1. С. 11]. Еще раньше, в 1921 г., Т. Ковальский установил в качестве «одной из самых выдающихся стилистических особенностей тюркской народной поэзии» дихотомическую структуру (по В. М. Жирмунскому — «двучленную структуру»): «Мысль, выраженная с наибольшей эмоциональностью, выделяется, насколько это возможно, при помощи симметричных с синтаксической точки зрения предложений» [2. С. 68; на с. 66 см. о «параллелизме синтаксической структуры, соблюдаемом весьма педантично, — два ряда параллельных грамматических форм, идентично сгруппированных»].

Синтаксический параллелизм в построении стихотворных сочинений различных жанров наблюдался также в средневековой тюркоязычной литературе разных периодов, весьма широко, по свидетельству Л. Ю. Тугушевой, в древнеуйгурском стихосложении (Восточный Туркестан — VIII—XIII вв.), в частности в стихотворных отрывках уйгурской версии путешествия Сюань-цзана [3. С. 106, 107]. Для газелей староузбекского периода отмечался «устойчивый параллелизм (=изоморфизм) сравниваемых понятий» [4. С. 156], для газелей Бабур — «наряду с приемом полного текстуального повтора... прием, который можно назвать приемом частичного или переосмысленного повтора текста» [5. С. 65].

Применительно к средневековым прозаическим сочинениям в литературе удалось найти только два указания. Л. Ю. Тугушевой зарегистрирован «прием ритмизованной прозы», используемый в целях усиления экспрессии, в среднеуйгурской версии биографии Сюань-цзана [6. С. 7]; по устному ее сообщению, здесь богато представлен и ритмико-синтаксический параллелизм. А. Н. Кононов относил «Возлюбленного сердца» Алишера Навои к особому жанру прозаических произведений: «Это „стихотворение в прозе“, так как почти во всех случаях конечное слово каждого предшествующего предложения рифмуется с конечным словом последующего предложения, что придает произведению художественную прелесть» [7. С. 5]. Синтаксический и семантический параллелизм можно усмотреть в ряде фрагментов из рунических надписей, приведенных Э. Р. Телишевым: *köñür közim körmâz tâg, bilir biligim bilmâz tâg boltï* [КТ6, 50] «зрачные очи мои словно ослепли, вещей разум мой словно отупел» [8. С. 167]. См. также:

...уғақ әрсәр, jablaq ағу бирүр, жауық әрсәр, adgū ағу бирүр (КТМ.) 'Кто живет далеко, (тому табгач) дают плохие дары; кто живет близко, (тому) дают хорошие дары' [9. С. 28 и 34—35]; köz-dä yaş kalsär tida köñül-tä siyit kalsär yanturu saqintim (КТН 11) 'when tears came down from the eyes, I mourned by holding them back, and then wails came out from the heart I mourned turning them back' [10. С. 134]. Явления параллелизма — синтаксического и семантического — отмечаются также в истории такого иносистемного литературного языка, как немецкий: здесь высокому стилю был свойствен «параллелизм в построении малых и больших синтаксических отрезков и даже целых глав, их ритмическое членение, использовавшееся преимущественно в памятниках XIV—начала XV в.» и в прозе XV в. [11. С. 181, 183].

Разумеется, данное литературное явление не отождествляется с явлением фольклорным — сильно развитым ритмико-синтаксическим параллелизмом, однако нельзя не признать, что оно сродни последнему. Описать конкретные проявления литературного параллелизма необходимо потому, что это одно из важных средств организации художественного текста средневековой литературы (не только чагатайской, но и, по Л. Ю. Тугушевой, древнеуйгурской), обеспечивающее его ритмическое членение, — создаваемая таким путем ритмика прозы заслуживает особого внимания. Ниже рассматривается параллелизм в синтаксисе как словосочетания, так и предложения.

«Бабур-наме» (рубеж XV—XVI вв.) — это объемистое прозаическое сочинение, охватывающее весьма протяженное художественное время (почти всю сознательную жизнь Бабура начиная с 12-летнего возраста, когда он стал государем отцовского удела — Андижана, и включая царствование его, основателя династии Великих Моголов, в Индии) и огромное художественное пространство (Мавераннахр и Иран — Афганистан — Индия). На первый взгляд оно кажется спонтанным и простым, бесхитростным изложением событий жизни автора, обстоятельств его времени, описанием окружающей природы. Бабур вроде бы и не слишком шлифует свой текст; он, например, совсем не педантичен в соблюдении правил литературного синтаксиса (часты случаи эллипсиса однородных сказуемых, инверсии и пр.). На деле же это очень продуманная проза, и прежде всего — в аспектах средневекового литературного этикета (по Д. М. Лихачеву, которым была установлена зависимость изображаемого в древнерусской литературе от литературного этикета, этот последний складывается из «этикета миропорядка», «этикета поведения» и «этикета словесного» [12. С. 94—97]). О целевых установках автора, языковом выражении отношения «автор—адресат» в «Бабур-наме», т. е. фактически о всех трех проявлениях литературного этикета, нами уже писалось [13].

Столь же продуманным является «Бабур-наме» и в смысле организации текста. Ниже мы остановимся на одном из средств, призванных обеспечить ритмику прозы в отдельных ее фрагментах, а именно на лексико-синтаксическом параллелизме; при этом внимание уделяется также словесным и текстовым повторам, полным и частичным, — так сказать, первым ступенькам на подступах к этому явлению.

К написанию своего главного сочинения Бабур приступил уже будучи поэтом, искушенным в разных поэтических жанрах; его творчество И. В. Стеблева справедливо считает «вершиной развития классической тюркоязычной поэзии Средней Азии» [5. С. 137]. Бабур в совершенстве владел приемами полного текстуального повтора, частичного или переосмысленного повтора текста [5. С. 65]. Ритмическое членение текста он осуществлял с помощью параллелизма — лексического и смыслового, грамматического (морфологического) и синтаксического. Все эти приемы и умения, выработанные тюркским стихосложением, Бабур творчески применил в «Бабур-наме» для организации прозаического текста.

Переходя к анализу данного способа организации текста «Бабур-наме», сделаем ряд замечаний, касающихся техники акцентированной подачи лексико-синтаксического параллелизма в настоящей статье. В проводимых ниже двучленных структурах граница между двумя частями каждой из них показана в тексте и соответственно в переводе двумя вертикальными параллельными чертами. В случаях, когда по необходимости приводится фрагмент текста, больший, нежели двучленная структура, эта последняя вычленяется при помощи фигурных скобок; в такие же скобки заключаются словесные повторы. Материал приводится по изданиям Н. И. Ильминского [14] и А. С. Беверидж [15], поэтому каждый пример документируется дважды — сокращениями, принятыми для этих изданий. Перевод всюду по возможности буквальный, с попыткой сохранить порядок слов и лексико-синтаксический параллелизм оригинала; мы пользовались также переводом М. А. Салье [16], который уточнялся и приспособлялся к нуждам проводимого исследования.

В «Бабур-наме» в пределах одного простого предложения, как и двух соседних простых предложений, можно наблюдать частичный словесный повтор при варьировании аффиксов в составе таких словоформ, например, в составе одного простого предложения... *še'gi bisjar pāst wā bimāzā edī* {andaq še'g ajtʔandun ajtmaʔan jaḥšyraq dur} БН 33, ВН 26 а '...его стихи были очень низменными и безвкусными. {Такие стихи чем говорить, не говорить лучше}'. Причастие на -ʔan глагола *ajt-* 'говорить' выступает здесь дважды — в положительной и отрицательной формах, с падежным аффиксом и без него: *ajt-ʔan-dun* 'чем говорить', *ajt-ma-ʔan* 'неговорение, не говорить'. Аналогичный повтор отмечается и в двух смежных самостоятельных осложненных предложениях со смысловым противопоставлением в главных предложениях: {iškā jetkūncā} ihtimamy jaḥšy edī {iškā jetkān mahalda} qaltaʔajlyyy bar edī БН 19, ВН 156 'До сражения пока [не] доходило, он выказывал усердие. {До сражения когда дошло}, был трусоват'. Глагол *jet-* 'доходить, достигать' представлен в первом предложении деепричастием на -ʔupcā, -kūncā, во втором — причастием на -ʔan, -kān в сочетании с определяемым *mahalda* 'во время'.

В данных примерах частичный словесный повтор хотя и является как бы ступенькой к лексико-синтаксическому параллелизму и придает высказыванию «эмоционально окрашенный ритм» (см.: [2. С. 69]), тем не менее не обеспечивает ритмического членения, связанного с параллелизмом. Причину этого мы усматриваем в том, что в вышеприведенных примерах налицо словесные повторы не сказуемых, но подлежащего и дополнения, т. е. разных членов предложения (в первом примере), разнооформленных разновидностей обстоятельства времени (во втором примере).

Об известном приближении к синтаксическому параллелизму можно говорить и в отношении следующего примера, где нет и частичного словесного повтора: {qalyṇ čegrik-lik} wā {bisjar wilaja:t-lyq} bu beš radišah edī БН 352, ВН 271 б 'Многочисленным войском обладавшими и {многими владениями обладавшими} были эти пять государей'. Здесь в пределах одного простого предложения налицо однородные подлежащие с однотипным грамматическим строением. Это субстантивированные производные на -lyq, -lik от определительных словосочетаний, причем пары соответствующих компонентов каждого такого сочетания — либо синонимы (*qalyṇ* 'многочисленный' — *bisjar* 'многий, много'), либо слова, окказионально взаимодополняющие друг друга в данном тексте (*čegik* 'войско' — *wilaja:t* 'владения').

Другое дело, когда частичный словесный повтор составляют сказуемые двух соседних предложений: *bilmām* {qoḡq-ʔan-lar-y tu edī//ja ilni qoḡq-ut-ʔan-lar-y tu edī} БН 402, ВН 308 б 'Не знаю, {они тогда то ли испугались [сами],//они тогда то ли испугали людей}'. Повторение

основы глагола (во втором предложении она осложнена аффиксом побудительного залога -ut) вместе с аффиксами аналитического прошедшего времени, лично-числовыми аффиксами, инкорпорированной вопросительной частицей представляет собой проявление синтаксического параллелизма и обеспечивает ритмическое членение фрагмента текста. То же самое видим в нижеследующем примере при повторе словоформ, выполняющих функции сказуемого и обстоятельства места, и при замене прямыми дополнениями (здесь вместо öz-ni 'себя' — o:t 'огонь') в двух соседних простых предложениях. Рассказывая об охоте на носорогов в Индии, Бабур пишет: özni žangalğa saldy//žangalğa o:t saldy-lar БН 285, ВН 2226 ['Носорог] себя в лес бросил// [Охотники] в лес огонь бросили'. При опущении подлежащих обоих предложений только отсутствие—наличие аффикса мн. числа в одинаковых глагольных словоформах указывает на еще одно различие — разные субъекты действия: 'носорог'—'охотник'.

Словесное повторение с вариацией аффикса («этимологическая фигура») в «Бабур-наме» бывает похожа на своего рода ритмическую игру слов. См.: bular ne qyşlaqlыq jerni...saman berädür//ne samanlyq jerdä qyşlaq БН 242, ВН 192 а 'Они ни места для зимовки не привели в порядок, //ни [самоё] зимовку в порядочном месте'. Здесь опорные слова — qyşlaq 'зимовка' и saman 'порядок, упорядочение; благосостояние' — как бы «меняются» своими функциями и соответственно аффиксом -lyq, ср.: qyşlaq-lyq jerni и saman-lyq jerdä. Синтаксический параллелизм, формально выражаемый парным персидским союзом ne...ne 'ни...ни', одинаковой моделью определений (на -lyq), несколько нарушен отсутствием второго однородного сказуемого в этом предложении, что обычно для синтаксиса «Бабур-наме».

Разные формы одних и тех же глаголов (в нижеприводимом примере это kir-sä-m 'если я войду', çyq-sa-m 'если я выйду'—kir-gäj-lär 'они войдут', çyq-çaj-lar 'они выйдут', bol-sa-m 'если я буду'—bol-çaj-lar 'они будут'), т. е. этимологические фигуры групп однородных сказуемых, являются опорными в лексико-синтаксическом параллелизме (при подмене других членов предложений). В приводимом фрагменте notice две двучленные структуры: biğ peçäni jaуу bek qylynyb edi meniñ çäşmdaşтым bulardun mundaq edi kim {men o:tqa suya kirsäm çyq-sam//bi tähaşy bular bilä kirgäjlär wä bilä çyqçajlar} {men här saryуа bolsam//alar meniñ sary bolçajlar} БН 382, ВН 294 б—295 а 'Нескольких [человек] мы произвели в новые беки. Надежда моя на них была такова, что {если я в огонь, в воду войду—выйду, //безотказно они вместе войдут и вместе выйдут}. {Я в какую сторону [ни] буду, //они на моей стороне будут}'. Повтор глагольных сказуемых (хотя бы и в разных грамматических формах) попарно в каждой из двух структур обеспечивает, в первых, эмоционально окрашенный ритм фрагмента, во-вторых, ведет к известному совпадению частей этих структур в смысловом отношении, на что обращал внимание В. Штейниц, исследователь параллелизма в карело-финской народной эпической поэзии [17. С. 1].

Ниже приводится фрагмент текста, состоящий из трех двучленных структур — одной пары простых предложений с «рифмующимися» глагольными сказуемыми и двух пар простых нераспространенных предложений с именными сказуемыми. См.: {ne kişisini razy qyla aldy//ne hazinäsini üläşä aldy}...{bi tažribälyq jigit edi//kişi bi säranžamlyq edi} {ne jürüşi ihtimamlyq//ne uruşy БН 342, ВН 264 б 'Он не смог ни своих людей удовлетворить, //он не смог ни свою казну разделить}... {был он неопытным юношей, //человек был не стремящийся к завершению [начатого дела]} {не проявлял усердия ни к походам, //ни к сражениям}'.

Здесь словесных повторов нет совсем, а синтаксический параллелизм опирается прежде всего на смысловую соотносимость членов предложения, особенно во второй и третьей структурах (*jigît* 'юноша'—*kiši* 'человек', *bi tažribälyq* 'неопытный'—*bi säranžamlyq* 'не стремящийся к завершению [начатого дела]', *jügüş* 'поход'—*iguš* 'война, сражение'), а также на грамматический параллелизм (в составе всех именных сказуемых—имена на *-lyq*, причем два из них — с персидским предлогом ~ префиксоидом *bi*: 'без': *bi tažribälyq*, *bi säranžamlyq*, см. еще *ihitimälyq* 'усердный, проявляющий усердие, старание'; глагольные сказуемые в форме возможности прошедшего категорического времени 3-го лица ед. числа: *gazy qyla aldy* 'смог удолетворить', *ülšä aldy* 'смог разделить'). К тому же использован персидский отрицательный союз *ne...ne* 'ни...ни' в первой структуре; в третьей структуре, где опущено второе однородное сказуемое (и даже первое употреблено без глагольной связи), этот союз — дополнительная «скрепа». В результате использования лексико-синтаксического параллелизма в трех двучленных структурах в пределах небольшого фрагмента текста происходит нагнетание отрицательных характеристик описываемого персонажа.

В прямой авторской речи представлен почти классический случай лексико-синтаксического параллелизма, действующего в пределах двух предложений при довольно точном совпадении грамматических форм, но без словесных повторов. Вместо них используются синонимы — как действительные, так и окказиональные (по И. В. Стеблевой: функциональные) для данного текста: *men dedim kim {saltanat wä žähangirlyq bi asbab wä alat däst bermäs//padišahlyq wä amirlyq bi nukär wä wilaja:t mümkin ermäs}* БН 382, ВН 295 а 'Я сказал: {царствование и покорение мира без орудий приготовления и без снаряжения не удается, // быть государем и полководцем без воинов и без владений невозможно}'. Сказуемые в обоих предложениях представлены отрицательными формами настоящего-будущего времени 3-го лица ед. числа (окончание *-mäs*), хотя в первом предложении сказуемое глагольное, во втором — именное (с отрицательной связкой). Пары однородных подлежащих в обоих предложениях почленно синонимичны между собой (*saltanat* — *padišahlyq* 'царствование', *žähangirlyq* 'покорение мира' — *amirlyq* 'полководчество'), причем три подлежащих из четырех имеют в своем составе аффикс *-lyq*. Пары однородных косвенных дополнений в обоих предложениях с окказионально-функциональной точки зрения также могут считаться почленно синонимичными между собой (*asbab* 'орудия приготовления' — *nukär* 'воин(ы)', *alat* 'снаряжение' — *wilaja:t* 'владения'), а компонентом их грамматической формы в обоих случаях является персидский предлог ~ префиксоид *bi*: 'без'.

Приведенный случай лексико-синтаксического параллелизма фактически без словесных повторов, но с богатой лексической синонимией, действительной и окказиональной (при четко выраженном морфологическом параллелизме всех членов предложения), оказывается более сильным в плане экспрессии, чем пример почти полного текстуального повтора целого предложения. См.: *{afyanlar ugušmaqdyn 'ažyz bolsa yanımlaryny alyda ot tyšlab kelür emiš}* *ja'hi men seniñ ojuñ dur me: degän emiš bu rasmny anda kördüm {‘Afgancy, kгда бессильны выдерживать бой, оказывается, приходят к своим врагам, держа в зубах траву}; т. е. они как бы говорят: «Я твой бык». Этот обычный я увидел там: {обесилевшие афганцы пришли, держа в зубах траву}'. Первая часть двучленной структуры представляет собой сложноподчиненное предложение с при-*

даточным условия, в то время как вторая часть этой структуры, занимающая дистантную позицию, — как бы «свернутый» аналог первого предложения: сказуемое придаточного предложения в условной форме трансформировалось здесь в причастное (на -уап) определение; отсутствуют имеющиеся в первой части косвенные дополнения *uğuſtaqduп* 'от войны', *уапумлауиуи аlyda* 'перед своими врагами'. Своими грамматическими формами различаются сказуемые обеих частей двучленной структуры (наклонением, модальностью, временем, лично-числовым показателем).

Дистантный текстуальный повтор каркаса предложения (этимологическая фигура — варьирование аффиксов наклонения лица и числа у глагольных сказуемых повторенных предложений), полный словесный повтор отдельных членов предложения (или их групп) при изменении их позиции (вывод за пределы повторенного предложения) способствуют созданию эмоционального ритма в гневной прямой речи Бабура. См.: *beklär keldilär sijasät wä yazab bilä dedim kim munčä kiſi {baqyb turub bir nečä jajaq aſyаnуа tübtüz jerda mundaq jigитni aldurursyz} sizläрни түрә[-ji] müwäžžahiңizdin pärgänä wä wilajätynyzdyn ajryb saqal-laryңызny қуғуyb ſähärlarda täſhir қylmaq keräk ta här kim {mundaq jigитni mundaq уапумуа aldursa} {mundaq tübtüz jerda} elik terätmäj {baqyb tursa} säzasy bolуaj* БН 308, ВН 239 а—б 'Прибыли беки. Я сказал со строгостью и гневом: «Вы, столько людей, {стояли и смотрели и позволили пешим афганцам взять такого молодца на совершенно ровном месте)! Следует лишить вас почетных титулов, ваших земель и владений, обрить ваши бороды и выставлять [вад] на позорище в городах, дабы каждому, кто {{если} отдаст такого молодца таким врагам}, {на таком совершенно ровном месте}, не двинув рукой, [каждому, кто] {если будет стоять и смотреть}, пусть будет ему [подобно] возмездие». Здесь еще следует отметить во второй, повторенной, части, нагнетение указательного местоименного наречия *mundaq* 'такой, таким образом' и замену конкретного названия врага (*bir nečä jajaq aſyаnуа* 'нескольким пешим афганцам') абстрактным (*mundaq уапумуа* 'таким врагам').

Итак, в группе рассмотренных выше примеров лексико-синтаксический параллелизм проявляется либо в условиях словесных (почти полных или частичных) повторов, либо при использовании синонимов (действительных или окказиональных), т. е. при отношениях известного смыслового взаимодополнения.

В другой группе примеров, которые будут рассмотрены дальше, лексико-синтаксический параллелизм проявляется в условиях антонимичности — как лексической и смысловой, так и грамматической (эта последняя может сопровождаться и словесными повторами). Здесь налицо отношения противопоставления, контрастности (за счет последней достигается усугубление экспрессивности изложения).

В приведенном ниже фрагменте текста двучленная структура организуется не столько синтаксическим, сколько смысловым (контрастирующим и лексическим параллелизмом, подразумевающим противопоставление ее двух частей: См.: *{meniң inim mirza һannуу wä anasy sultan nigar һанымнуу 'äjn wä ma'mur wilajätlary бар erdi//men wä anam wilajät һod nersün bir kent wä bir nečä qoſ egasi bola almaduk} meniң anam јunus һан quzy wä men näbiräsi emäs tu edim* БН 253, ВН 200 б 'У моего младшего брата Мирзы-хана и его матери Султан Нигар-ханум имелись великолепные и благоустроенные владения//Я и моя мать не смогли стать обладателями какого уж там владения! [хотя бы] одного селения да нескольких кибиток) [А] моя ли мать

не дочь Юнус-хана? Я ли не его внук?'. Здесь благодаря окружению противопоставляются даже повторенные слова *wilajätlary* 'их владения' (с аффиксом принадлежности 3-го лица мн. числа) и *wilajät* 'владение'; первое выступает с определениями 'äjn wä ma'mur wilajätlary 'их великолепные и благоустроенные владения', второе — с умалительным и уничижительным сочетанием вопросительного местоимения *ne* и повелительной формы вспомогательного глагола *er-* 'быть': *wilajät hođ persün* 'какое уж там владение!'. Определительное сочетание 'äjn wä ma'mur wilajätlary состоит в смысловой оппозиции еще и с *bir kent wä bir pešä qoş* 'одно селение и несколько киботок'. Противопоставляются также сказуемые: положительная форма *bar erdi* 'имелись' и отрицательная форма возможности вспомогательного глагола *bol- ...egäsi bola almaduk* '...обладателями стать не смогли мы' при полном формальном их несовпадении. Экспрессивность данной двучленной структуры усиливается за счет риторического вопроса, ее сопровождающего. Показателен сам факт соположения этой характерной черты поэтического синтаксиса и лексико-семантического параллелизма.

Лексико-синтаксический параллелизм при полном почленном морфологическом параллелизме синонимов (*jaraş-lar* 'мир'—*dostluq-lar* 'дружество', *uruş-qa* 'войне'—*düşmanlıq-qa* 'враждебности') может организовывать мини-структуру внутри простого распространенного предложения с противопоставлением внутри каждой ее части благодаря использованию антонимов. В нижеприводимом примере эти антонимы — прямое и косвенное дополнения — совпадают по своим словообразовательным параметрам; см. имена действия: *jara-ş* 'мир'—*ur-uş* 'война', производные имена на *-lıq, -luq*: *dost-luq* 'дружество'—*düşman-luq* 'враждебность'. См.: *mulkgirlik daydayasy žihätidin häjli {jaraşlar uruşqa//wä dostluqlar düşmanlıqqa} mubaddal bolur edi* БН 9, ВН 76 '[Омар Шейх мирза] по причине стремления к завоеванию часто сменял {мир (букв.: миры) на войну, //а дружество (букв.: дружества) — на враждебность}'.

В следующей двучленной структуре, построенной при помощи синтаксического параллелизма (опорное слово *iş* 'дело'), контрастность достигается противопоставленностью в двух ее частях положительной (настоящее-будущее время) и отрицательной (прошедшее категорическое время) форм синонимичных глагольных сказуемых, с одной стороны, и варьированием форм глагола речи — с другой (*dedilär* 'говорили'—*desä bolıaj* 'можно было бы говорить', т. е. своего рода игрой слов). См.: *{elikidin iş kelür dedilär} // bunča jyl kim meniñ qaşymda edi {hiç andağ iş zahir bolmady kim desä bolıaj}* БН 18, ВН 146—15а '{Из его рук дело выйдет, — говорили} // За столько лет, когда он был при мне, {никакое такое дело не обнаружилось, чтобы можно было бы говорить}'.

В приведенной ниже двучленной структуре лексико-синтаксический параллелизм особенно полно проявляется в «рифмующих» формах глагольных сказуемых (неопределенный имперфект 3-го лица ед. числа), в лексическом и частично в грамматическом совпадении прямых дополнений (именной аффикс *-lıq*, аффикс вин. падежа *-nu*). Контрастность обеих частей структуры обуславливается, во-первых, противопоставлением в сфере прямого дополнения: положительная форма (имени действия на *-tağ*) в первом предложении — отрицательная форма (причастие на *-mas*) во втором предложении; во-вторых, использованием антонимов (*hünar* 'доблесть, искусство'—'ajb 'порок, вина'). См.: *čuhrä sahlamaqlıqnu hünar bilür edi // çuhrä sahlamaslyğny 'ajb qylur edi* БН 33, ВН 26 а 'Держать у себя мальчиков почиталось доблестью, //не держать у себя мальчиков почиталось пороком'.

Контрастность в двучленной структуре при явных словесных повторах может достигаться за счет противопоставления как чисто словесного (*bir* 'один'—*iki* 'два'), так и формально-грамматического в сфере глагольных сказуемых (условная форма—неопределенный имперфект): *šatranžya kör maš'uf edi ||} cir elik bilä ojnasal//ol iki elik bilä ojnar edi} läg pečä köñli tilär ojnar edi* БН 216, BN 173 а 'Он был безумно увлечен шахматами. {Люди одной рукой играли, //он двумя руками постоянно играл}. Играл, сколько душа его захочет'.

Две следующие двучленные структуры перекрестно связаны тем, что первое (условное) предложение первой структуры в морфологически трансформированном виде (деепричастный оборот на *-günčä*) повторено в первой части второй структуры и нашло отзвук во второй ее части. Контрастность создается также действующим именно в данном тексте противопоставлением *quš* '(ловчие) птицы'—*oçlan* 'сыновья' (*oçlan* в последней части заменяется местоимением *falany* 'такой-то'). См.: *çušqa asru kör mäjli bar edi andaç kim {här qušu ölsä ja itsä//oçlanlarynuñ atynuñ tutub} ajtur ekändur kim {bu quš ölgünčä ja itgünčä//falany ölsä ne edi ja falanunuñ bojny sinsä ne edi}* БН 212, BN 170 а '{У Мухаммеда Бурундука Барласа} была очень сильная склонность к [ловчим] птицам, такая, что {если любая его птица умирала или пропала, //он, оказывается, называя имена своих сыновей}, говаривал: {Чем эта птица умерла или пропала, //что случилось бы, если бы такой-то умер? Или: что случилось бы, если бы такой-то сломал себе шею?}'.

Нагнетение антонимов (их далее приведено четыре пары) при противопоставлении положительной и отрицательной форм глагола наблюдается в прямой авторской речи, характеризующейся в данном случае острой эмоциональностью: *men dārgwiš muhāmmādqa dedim kim qutluq hožanun saqaldun ujat {dārgwiš wä qary wä aq saqallyq hämišä çalyr ičär//sen sipahi wä jigüt wä qarqara saqallyq iärgiz ičmässen} ne ma'ni* БН 310, BN 240 б 'Я сказал Дервишу Мухаммеду: «Постыдись бороды Кутлук Ходжи» {Он, дервиш и старик с белой бородой, всегда гьет вино. //Ты, воин и молодой человек с черной-пречерной бородой, никогда не пьешь}. Какой [в этом] смысл?»: Двучленная структура в данном случае построена при помощи синтаксического и лексического параллелизма, обе ее части симметричны, хотя и контрастны во всех деталях, см. антонимы: *dārgwiš* 'монах, отрекшийся от мирской жизни'—*sipahi* 'воин, солдат', *qary* 'старый'—*jigüt* 'юноша', *aq saqallyq* 'белобородый', 'с белой бородой'—*qarqara saqallyq* 'с черной-пречерной бородой' (здесь форма усиления качества — *qarqara*—усугубляет экспрессивность), *hämišä* 'всегда, постоянно'—*härgiz* 'никогда' (при отрицательном глаголе). Морфологический параллелизм — в единообразном построении сложных субстантивов *aq saqal-lyq*, *qarqara saqal-lyq*, а также глагольных сказуемых — в обоих случаях это настоящее-будущее время с варьированием: *ičär*—положительная форма, 3-е лицо ед. число, *ičmas-sen*—отрицательная форма, 2-е лицо ед. число.

Еще одно ритмическое смысловое противопоставление при использовании окказиональных антонимов в составе как подлежащих, так и именных сказуемых представлено в двух двучленных структурах. См.: *šah çarib mirza... bükri edi {ägärčä häjaty jaman edi//tab'i hob edi} {ägärčä badany natawan edi//kälami märgyub edi}* БН 206, BN 166 а 'Шах Гариб мирза ... был горбуном. {Хотя фигура у него была плохой, //способности у него были хорошие} {хотя тело его было немощным, //речь его была прекрасной}'. В этом фрагменте, где красота человеческого духа противопоставляется немощи тела, при полном синтаксическом параллелизме двух частей структуры они даже рифмуются между собой

(abab) — словно два бейта (jaman edi—natawan edi, ħob edi—māryub edi), причем глубокая рифма—даже не грамматическая.

В этом, как и в следующих примерах, лексико-синтаксический параллелизм представлен наиболее полно. См.: ... šājbani ħan dek ʔanym-ḡuḡ ūstigā 'azim bolʔanda {il ajaq bilā barʔanda//biz baš bilā barʔajbyz} {il tajaq bilā barʔanda//biz taš bilā barʔajbyz} БН 202, BN 163а '...в то время, когда [союзники] двинулись против такого врага, как Шейбанихан, если народ идет ногами, то мы пойдем с головой; если народ идет с палкой, то мы пойдем с камнем'. Здесь налицо противопоставление и окказиональных антонимов ajaq 'ноги'—baš 'голова', tajaq 'палка'—taš 'камень', пары которых рифмуются перекрестно (ajaq—tajaq, baš—taš).

Для внутренней речи автора также характерен синтаксический параллелизм с употреблением большого числа антонимов, что обуславливает контрастность речи, ее эмоциональную остроту. Рассказывая о своем зимнем переходе из Герата в Кабул, во время которого войско Бабура застиг в горах сильнейший снегопад, автор пишет: bir nečā decilār kim ħawalya baruḡ barmadym kōḡūlgā kečti kim {barča il qarda wā čabqunda//men usyq ūjda wā istirahat bilā munda} {barča ulus tašwiš bilā mušaqaṭta//men munda ujqū bilā farayatta} muruwwāt jyraq wā hāmzihātlyqṭyn qyraq iš tur {men hām hār tašwiš wā mušaqaṭ bolsa kōrājīn//hār nečūk il taqaṭ qylyb tursa turajyn} bir farsy masal bar mārg ħa jaran su:r ast ošandaq čabqunda qasʔan jasaʔan čuqurda olturdum БН 246, BN 194 б 'Несколько [человек] говорили: «Идите в пещеру (хавал)!». Я не пошел. До сердца дошло: {Все люди — на снегу, на метели, //я — в теплом месте и при отдыхе здесь.} {Весь народ — в беспокойстве и тяготах, //я — здесь, в покое и сне.} Это дело, далекое от доблести и сокрушающее единую линию (букв.: единонаправленность). {Какие ни будут беспокойства и трудности, я тоже (их) испытаю. //Что только ни терпят люди, я вытерплю.} Есть персидская поговорка: «Смерть с друзьями — пиршество». Вот в такую-то метель сидел я в вырытой и устроенной [мною] яме'.

Приведенный фрагмент содержит три двучленные структуры. Первые две следуют непосредственно одна за другой. Они связаны как содержательно, так и посредством лексико-синтаксического параллелизма. В них одинаковы по своему строению именные сказуемые (имена или местоимение в местном падеже, эллипсис глагольной связки). В силу конечной позиции сказуемого варианты аффикса местного падежа являются своего рода рифмой, см.: а) čabqun-da—mun-da при одинаковых фонетических условиях присоединения этого аффикса — -un-da; б) mušaqaṭ-at-ta — faray-at-ta, где глубокая рифма охватывает не только аффикс местного падежа, но и арабский показатель мн. числа -at, он присоединяется в почти равных фонетических условиях окончания основ на звукосочетания -aq~aṡ. Каждая из структур резко контрастна (внутри своей пары). Контрастность достигается за счет мнимого противопоставления barča il 'все люди', barča ulus 'весь народ'—men 'я', в соответствии с которым осуществляется поляризация словесного материала, нагнетение антонимов, действительных или окказиональных. Здесь противопоставляются следующие функциональные «антонимы»: qarda 'в снегу, на снегу' — usyq ūjda 'в теплом месте (букв.: доме)', čabqunda 'на метели' — istirahat bilā munda 'при отдыхе здесь' (munda 'здесь'—субститут usyq ūjda 'в теплом месте'), tašwiš bilā mušaqaṭta 'в беспокойстве и тяготах' — munda ujqū bilā farayatta 'здесь в покое и сне'.

От двух рассмотренных третья двучленная структура отделяется одним лаконичным простым предложением, как бы выпадающим из ритмической прозы с ее экспрессивностью не только по своей форме, но

и по мужественной трезвости смысла, — это заявление автора, содержащее категорическую, весьма негативную оценку вышеизложенного мнимого противопоставления: *tuḡuwwät juḡaq wä hämzihätlüqtyn quḡaq iş tur* 'Это дело, далекое от доблести и сокрушающее единую линию'.

В третьей двучленной структуре, где мнимое противоречие снято предшествующим авторским заявлением, излагается действительная точка зрения Бабура, вполне соответствующая «этикету поведения». Характерно, что при этом используется не обычный для «Бабур-наме» безличный способ изложения, но именно «личный» способ (см.: [13. С. 21—24]) (*мен ... köḡäjin ... tuḡajyn* 'я ... увижу ... устою'). Окказионально взаимодополняющая лексика «встраивается» с помощью синтаксического параллелизма. Таким образом две первые структуры создают своего рода мнимо отрицательный фон, противоречащий «этикету поведения»; тем самым усиливается положительный эффект третьей двучленной структуры и достигается острая экспрессивность внутренней речи. Положительный эффект закрепляется приводимой далее в тексте персидской посылкой («Смерть с друзьями — пиршество») и скромной констагацией автора, у которого слово не расходится с делом («В такую-то метель сидел я в вырытой и устроенной [мною] яме»).

«Хэппи-энд» этого эпизода также выдержан с точки зрения лексико-синтаксического параллелизма — с противопоставлением окказиональных антонимов внутри цепочек двучленных структур. Благодаря смысловому противопоставлению создается эмоциональное напряжение, благодаря педантичному повторению синтаксических конструкций — эмоциональный ритм: {*andaq sawuq wä qardyn qutulub//mundaq kent wä ysüq üjlär tapmaq*} {*andaq muṣaḡat wä bāla:dyn ḡalas bolub//mundaq qalyn nan wä semiz qojlar tapmaq*} {*ḡusury dur kim mundaq muṣaḡatlarny köḡḡänlär bilürlär//säḡayatydur kim mundaq bāla:lar keḡürgänlär* БН 247, ВН 195 б 'Избавившись от такого холода и снега, // найти этокое селение и теплые дома,} {освободившись от таких тягот и страданий, // найти этак много хлеба и жирных баранов,} — {это отдых, который знают [лишь] те, кто испытал подобные тяготы, // это покой, который [знают лишь] те, кто пережил подобные страдания}'.

Проведенный нами анализ показывает, как разнообразны в «Бабур наме» конкретные проявления лексико-синтаксического параллелизма, а вместе с тем — насколько мастерски владел Бабур как поэт разновидностями этого параллелизма, как он умел добиваться при этом ритмического звучания своей прозы (см. к тому же и рифмующиеся окказиональные антонимы), усиления экспрессивности изложения с помощью эмоционально окрашенного ритма и смысловых совпадений на основе взаимодополнения (при использовании синонимов — действительных или окказиональных) либо смысловых противопоставлений на основе контрастности (при использовании антонимов — лексических и грамматических). Многообразие проявлений лексико-синтаксического параллелизма в «Бабур-наме» столь велико, что было затруднительно классифицировать собранный материал.

Все это позволяет предполагать, что знакомство Бабура с приемом лексико-синтаксического параллелизма было не только литературным; возможно, корнями своими оно уходит в средневековый фольклор среднеазиатских тюрков. Подтверждением могут служить следующих два обстоятельства. Во-первых, Бабур проявил себя в своем главном сочинении «Бабур-наме» как всесторонне эрудированный, живо всем интересующийся писатель, который многократно подчеркивал (да и докзывал на деле; см., например, вышеприведенный фрагмент текста

БН 246, BN 194 б), что сословные «шоры» далеко не всегда были для него определяющими в поведении, пристрастиях, вкусах. Во-вторых, в том, что Бабур знал современный ему фольклор тюркоязычных народов Средней Азии (а возможно, и тюркского Афганистана, Ирана), убеждает и другой факт, а именно широкое применение им такого приема для организации текста «Бабур-наме», как использование пословиц и поговорок (тюркских и персидских) в целях назидательных, а не только украшательских; это было бы невозможно, если бы автор не владел свободно фольклорным материалом.

Традиция такого приобщения средневекового писателя к фольклорному материалу восходит еще к «Кутадгу билиг». Как отмечал А. Н. Кононов, «...автор „Кутадгу билиг“ широко использует для своих дидактических целей народную мудрость, устное поэтическое творчество тюркских народов, пословицы, поговорки, крылатые слова и т. п.» [18. С. 7]. Украшение стиха мудрым изречением, жалобой на судьбу, увещанием составляло один из неперемненных пунктов арабской поэтики, которой придерживались средневековые тюркоязычные поэты [19. С. 161]. В философско-дидактическом трактате азербайджанского поэта и мыслителя XIII—XIV вв. Авхади Марагаи «Джами Джам» (на фарси) также широко используются пословицы, поговорки, идиоматические выражения [20. С. 117]. Афоризмы и пословицы содержит и третья часть «Возлюбленного сердца» Алишера Навои [7. С. 6].

Все сказанное позволяет не декларативно, а на совершенно конкретном материале [21] поставить необычные для тюркской филологии вопросы, а именно: а) о связи «Бабур-наме» с фольклором; б) шире — о воздействии фольклорных традиций на средневековую тюркоязычную литературу; в) о стилевом воздействии фольклорных средств на чагатайский литературный язык.

## П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Жирмунский В. М. Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского народного эпического стиха//Вопр. языкознания. 1964. № 4.

<sup>2</sup> Ковальский Т. К вопросу формального изучения поэзии тюркских народов//Сов. тюркология. 1988. № 5.

<sup>3</sup> Тугушева Л. Ю. Древнеуйгурская поэзия//Сов. тюркология. 1970. № 4.

<sup>4</sup> Иванов С. Н. К изучению жанра газели в староузбекской поэзии//Тюркологический сборник. 1974. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1978.

<sup>5</sup> Стеблева И. В. Семантика газелей Бабура. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1982.

<sup>6</sup> Фрагменты уйгурской версии биографии Сюань-цзана/Транскрипция, пер., примеч., коммент. и указ. Л. Ю. Тугушевой. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1980.

<sup>7</sup> Кононов А. Н. Предисловие//Алишер Навои. Возлюбленный сердца/Сводный текст подготов. А. Н. Кононов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

<sup>8</sup> Тенишев Э. Р. О наддиалектном характере языка тюркских рунических памятников//Turgologica: К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л.: Наука. 1976.

<sup>9</sup> Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951.

<sup>10</sup> Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington, 1968.

<sup>11</sup> Гухман М. М., Семенов Н. Н. История немецкого литературного языка IX—XV вв. М.: Наука, 1983.

<sup>12</sup> Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967.

<sup>13</sup> Благова Г. Ф. Языковое выражение отношения «автор—адресат» в «Бабур-наме»//Сов. тюркология. 1989. № 1.

<sup>14</sup> Бабер-намэ или Записки Султана Бабера/Изд. в подлинном тексте Н. И. [Ильминский]. Казань, 1857 (сокращенно—БН).

<sup>15</sup> The Bābar-nāma/Ed. by A. S. Beveridge. Leyden; London, 1905 (сокращенно—BN).

<sup>16</sup> Бабур-наме: Записки Бабура/Пер. М. Салье. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1953.

<sup>17</sup> Steinitz W. Der Parallelismus in der finnisch-karel'schen Volksdichtung. Helsinki, 1934.

<sup>18</sup> Кононов А. Н. Слово о Юсуфе из Баласагуна и его поэме «Кутадгу-билиг»//Сов. тюркология. 1970. № 4.

<sup>19</sup> Стеблева И. В. Семантическое единство газели Бабура//Тюркологический сборник. 1974. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1978.

<sup>20</sup> Рустамова А. О. О некоторых параллелях в «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни и средневековой азербайджанской поэзии//Сов. тюркология. 1970. № 4.

<sup>21</sup> Говоря о значении конкретного материала для постановки названной проблемы, можно было бы привести здесь слова А. П. Чехова: «...нужны факты. Вообще говоря, на Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений—в чем я теперь сильно убеждаюсь, усердно прочитывая свою сахалинскую литературу» (цит. по: [22. С. 6]).

<sup>22</sup> Лакшин В. Открытая дверь. М.: Моск. рабочий, 1989.

В. Я. ПИНЕС

### ИКОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАКОВ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ТЮРКСКОГО ГЛАГОЛА

Известный тезис Ф. де Соссюра о произвольности и условности языковых знаков получил весьма широкий резонанс в лингвистике. Однако произвольный характер связи означающего с означаемым признается языковедами со многими оговорками, учитывающими достаточно тонкие особенности языка как знаковой системы, которая сохраняет следы первоначальной мотивации знаков.

Один из родоначальников семиотики Ч. Пирс [1] выделял три типа знаков (иконические знаки, индексы и символы), в основе различения которых лежат разные взаимоотношения между означаемым и означающим. Так, в иконических знаках имеет место подобие, сходство означающего и означаемого. Индексы характеризуются ассоциативной связью означающего с означаемым по действительно существующей смежности. В символах же связь между двумя сторонами знака устанавливается по соглашению — независимо от наличия или отсутствия какого-либо подобия или реальной смежности. Одновременно Пирс отмечает, что в большинстве случаев в знаках обнаруживается сосуществование указанных признаков и лишь преобладание одного из них позволяет отнести тот или иной знак к классу индексов, символов или иконических знаков.

В одной из своих статей Р. Якобсон, анализируя семиотические идеи Пирса, специально останавливается на роли иконического аспекта языковых знаков, который часто недооценивался или даже вообще не принимался во внимание [2]. Именно этот аспект препятствует категорическому провозглашению сугубо конвенционального характера связи означающего с означаемым [3]. Особый интерес в этом плане представляет такой подкласс иконических знаков, как диаграммы, отражающие сходство в соотношении частей означающего и означаемого. В качестве типичных примеров диаграмм Пирс указывает различного рода схемы, графики, статистические кривые, алгебраические уравнения и т. д. Частным случаем диаграмм являются знаки, в которых имеет место соответствие в порядке между означающим и означаемым.

Определенный порядок языковых единиц часто служит иконическим признаком, отражающим естественное отношение между элементами означаемого. Так, последовательность форм прошедшего времени глагола чаще всего соответствует последовательности событий. Для условных предложений характерен порядок, когда условие предшествует заключению. В повествовательных предложениях подлежащее, как правило, предшествует прямому дополнению, что связано с иерархией

концентрации внимания на субъекте и объекте. Дж. Гринберг, сформулировавший целый ряд такого рода универсалий, указывает, что «порядок элементов в языке параллелен порядку в практической деятельности или в процессе познания» [7. С. 150].

Порядок компонентов парных слов, широко представленных в тюркских языках, может определяться, например, для терминов родства такими признаками, как возрастная иерархия референтов (старший — младший), характер взаимоотношений (более близкий—менее близкий) и т. д. [8. С. 155].

Результаты проведенного А. М. Джавадовым исследования порядка единиц различных уровней в азербайджанском языке свидетельствуют также о том, что диаграммная иконичность лежит в основе упорядочения компонентов словосочетаний, однородных членов предложения и т. д. [9. С. 26—27, 44—48 и др.].

Иконический характер может носить не только аранжировка слов и синтаксических групп в предложении, но и порядок морфем в составе слова. Как и в синтаксисе, здесь обнаруживается удивительная аналогия с ориентированными графами, являющимися типичными диаграммами в смысле Пирса. «В строении графов, — пишет Р. Якобсон, — находят близкую аналогию такие свойства языка, как связанность языковых объектов друг с другом, а также с начальной границей цепочки, непосредственное соседство и дистактная связь, центральность и периферийность, симметричные и асимметричные отношения, эллипсис отдельных компонентов» [2. С. 9]. Именно потому лингвисты довольно часто обращаются к построению грамматических моделей с помощью собственно графов и различных диаграмм порядка, отражающих межэлементные отношения, изоморфные структуре означаемого.

В отличие от синтаксиса, где, как отмечалось выше, порядок языковых элементов часто соответствует последовательности в физическом или познавательном опыте человека, иконичность морфемных цепочек далеко не всегда может быть объяснена столь же очевидным образом. Однако и на уровне морфемного порядка обнаруживается определенная иерархия грамматических понятий, обуславливающая четкую последовательность соответствующих элементов плана выражения.

Сочетания понятий (resp. значений), которыми оперирует мышление, конечно, не обладает обязательно линейной структурой. Как отмечает В. М. Солнцев, «несубстанциональная природа значений создает своего рода парадокс нелинейного взаимодействия значений линейно расположенных единиц» [10. С. 283]. Вместе с тем, для того чтобы перейти от отсутствия линейной последовательности на уровне семантической структуры к линейному расположению знаков, понятия должны подвергнуться процессу линеаризации. Эту линейную аранжировку понятийных единиц У. Д. Чейф называет поверхностной структурой [11. С. 40—41]. Таким образом, еще до фонетической или графической символизации синтетические нерасчлененные семантические структуры преобразуются в линейные поверхностные структуры. Линеаризация же означаемого знаков, близких к иконическим диаграммам, по-видимому, обусловлена некоторыми существенными признаками самой семантической структуры знаков и соответственно отражаемой ими реальной действительности или познавательной абстракции.

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что совокупность значений отдельных морфем в составе словоформы не имеет реальной пространственной организации. «Совершенно очевидно, что понятия „позиция“, „порядок“, „одновременность“, „центральность“, „маргинальность“ и т. п. могут относиться к единицам плана содержания в том случае,

если их понимать не как термины пространства и времени, а только в чисто логическом смысле (разрядка наша. — В. П.) взаимной независимости или односторонней либо двусторонней зависимости» [12. С. 197].

Иконический характер морфемных цепочек наиболее четко прослеживается в агглютинативных языках, в частности, в тюркских. Ф. де Соссюр, признавая существование относительно мотивированных знаков, указывал, что мотивация «всегда тем полнее, чем легче синтаксический анализ и очевиднее смысл единиц низшего уровня» [13. С. 164]. С этой точки зрения тюркские языки принадлежат к числу языков с высокой степенью мотивации. Структура тюркского слова, несмотря на сложность, прозрачна. Для тюркских языков «существует только один путь морфологического развития слова: последовательное прибавление оформителя к концу основы, причем непосредственно за основной идет первый оформитель, за первым — второй — третий и т. д.» [14. С. 44]. При этом основа и аффиксы почти не изменяются, что позволяет подвергать тюркские словоформы предельно точному морфологическому анализу и даже сравнительно легко алгоритмизировать последний. Аффиксы в принципе моносемантчны, и их количество соответствует числу грамматических значений [15. С. 21].

Важнейшей характеристикой морфологической структуры слова в тюркских языках является высокая степень упорядоченности аффиксов разного значения относительно основы и относительно друг друга, что положено в основу многих описаний морфологической структуры тюркских языков [16—25 и др.]. Для любых двух грамматических показателей представляется возможным точно указать их взаимное расположение в составе словоформы. Используя терминологию алгебры бинарных отношений, можно сказать, что на множестве аффиксов задано отношение порядка. Это позволяет разбить множество аффиксов на линейно упорядоченную систему подмножеств, называемых порядками. В этой системе элементы 1-го порядка всегда предшествуют в цепочках элементам всех других порядков; 2-й порядок включает элементы, которые следуют за элементами 1-го порядка, а в отсутствие последних занимают первое место, т. е. присоединяются непосредственно к основе; элементы 3-го порядка следуют за элементами 2-го порядка либо занимают второе или первое место в отсутствие элементов предыдущих порядков и т. д. Система порядков с приложением правил, ограничивающих сочетания элементов из определенных порядков, может служить моделью морфологической структуры тюркских словоформ. Эта модель, получившая название грамматики порядков ([20], см. также: [22; 23]), представляет собой тип порождающей грамматики с заданным на исходном множестве элементов отношением порядка. Порождение цепочек аффиксов начинается присоединением к основе того или иного элемента первого порядка, к которому далее последовательно присоединяется по одному из элементов каждого последующего порядка.

Как показали последующие исследования, данная модель может служить типологической характеристикой не только тюркских, но и других языков, в которых наблюдается агглютинация морфем, в частности финно-угорских, самодийских, палеоазиатских, банту, некоторых кавказских [26]. Перспективно использование грамматики порядков и при изучении структуры грамматических единиц в японском языке [27].

Модель грамматики порядков, основным компонентом которой является таблица порядков, исключительно точно эксплицирует синтагматические и парадигматические отношения морф в составе слово-

2 «Советская тюркология» № 2

формы. Ниже приводится упрощенная таблица порядков, отражающая морфологическую структуру личных форм азербайджанского глагола (подробно модель рассматривается в [22]).

П О Р Я Д К И						
1	2	3	4	5	6	7
З а л о г и			Отрицание	Времена и наклонения		Лицо—число
-н	-дыр	-л/-н	-ма	-ыр	иди(-ды)	-(а)м
-ш				-магда	имиш(-мыш)	-(са)н
				-ар		-дыр
				-амаг		-(ы)г
				-ды		-(сы)ныз
				-мыш		-(дыр)лар
				-ыб		и др.
				-а		
				малы		
				-асы		
				-са		

Исследуя позиционные отношения аффиксов, тюркологи обращали внимание на связь значения грамматических показателей с их местом в цепочках [17; 18]. Н. А. Баскаков показал связь позиции аффикса со степенью его грамматичности. Установлено, что в тюркских языках наиболее близкое к корню положение занимают аффиксы лексико-грамматического словообразования, например, аффиксы, образующие глаголы от именных частей речи, залоговые показатели и т. д. Далее следуют аффиксы функционально-грамматического словообразования, которые, не изменяя семантики слова и его принадлежности к той или иной части речи, определяют использование слова в словосочетании и предложении. В частности, здесь имеются в виду показатели наклонения и времени, а также некоторые категории имен. Еще дальше от корня располагаются показатели категорий числа, лица, принадлежности, которые наименее связаны с лексической семантикой слова и выражают отношения слов в словосочетании и предложении. Таким образом, выявляется, что «в структуре тюркского слова наиболее абстрактные грамматические категории выражены в аффиксах, наиболее удаленных от корня. Чем ближе отстоят от корня те или иные форманты, тем больше вещественного, лексического заключено в категориях, ими выражаемых» [18. С. 137].

Идея связи позиции аффикса с его семантикой, выдвинутая в вышеуказанных работах, вполне соответствует постулату о преимущественно иконическом характере морфемных последовательностей в тюркских языках, об обусловленности порядка морфов иерархией грамматических значений. Особенно четко это отношение между планом выражения и планом содержания словоформ моделируется в рамках грамматики порядков. В таблице порядков одно и то же значение выражается морфемами, находящимися в одном порядке. В одном и том же порядке располагаются и аффиксы, выражающие несовместимые, взаимоисключаемые значения. Указанные свойства позволяют поставить в соответствие каждому порядку определенное значение и соответственно представить последовательность аффиксов в составе словоформы в виде последовательности значений.

Будучи важной типологической характеристикой тюркского слова,

иконическая диаграмманость аффиксальных цепочек не может не учитываться при определении категориального статуса грамматических форм и изучении системы их значений.

Обратимся к материалу азербайджанского языка. Здесь обычно выделяются четыре морфологически маркированных залога: пассивный (показатель *-л/-н*), возвратный (*-н/-л*), взаимно-совместный (*-ш*), пундительный (*-дыр*), причем указанные аффиксы могут образовывать различные сочетания в составе глагольных словоформ; например: *вур-бить* — *вур-уш-бить* друг друга, драться — *вур-уш-дур-* заставлять бить друг друга, стравливать, *чых-* выходить — *чых-ар-* вынимать, извлекать — *чых-ар-ыл-* извлекаться, *ју-* мыть — *ју-јун-* мыться — *ју-јун-дур-* купать — *ју-јун-дур-ул-* быть выкупанным и т. д.

Как известно, любая грамматическая категория представляет собой совокупность однородных граммем, или однородных грамматических элементов значения. Ср. граммеы ед. и мн. числа, мужского, женского и среднего рода, граммеы отдельных падежей и т. п. При этом «основная зависимость, связывающая грамматические значения словоформ и грамматические категории, состоит в том, что грамматическое значение словоформы может содержать не более одной граммеы одной и той же грамматической категории» [28. С. 27]. В связи с тем, что в грамматике порядковыми, т. е. их совместная встречаемость запрещена, а элементы из разных порядков способны образовывать комбинации, целесообразно считать, что однородные граммеы должны выражаться морфемами, принадлежащими к одному и тому же порядку, а показатели грамем разных грамматических категорий занимать место в разных порядках. Однако морфы традиционных залогов азербайджанского языка, как это видно из приведенных выше примеров и таблицы, не сосредоточены в одном порядке, а распределяются по трем разным порядкам. Таким образом, выражаемые этими морфемами граммеы не являются однородными и не могут быть отнесены к единой грамматической категории залога.

Сказанное подтверждается возможной интерпретацией залогов в тюркских языках, в том числе в азербайджанском, на основе универсальной теории залога [29]. Согласно этой концепции (см.: [31]), в рамках которой четко и последовательно разграничиваются семантический и синтаксический уровни представления глагольной лексемы, при переходе от исходной глагольной формы к залогово-маркированной происходит лишь изменение диатезы, или соответствия между семантическими актантами глагольной лексемы (субъект, объект, адресат, инструмент и т. п.), с одной стороны, и синтаксическими актантами (подлежащее, дополнение) — с другой. Обозначаемая же глагольной лексемой ситуация и набор ее участников (партиципантов) остаются неизменными. Такой подход позволяет отграничить собственно залоговые от некоторых смежных явлений. В частности, маркируемые аффиксом *-дыр* и его алломорфами диатезы нельзя признать собственно залоговыми. Этот аффикс обозначает не изменение исходной диатезы, а появление нового партиципанта (каузатора), в результате чего возникает новая ситуация.

Во всех случаях, независимо от того, к какой глагольной основе присоединяется аффикс *-дыр* — переходной или непереходной, — он представляет собой способ выражения в пределах глагольной формы общего абстрактного смысла «каузировать, заставить, пундировать, сделать так, чтобы...»; ср.: *јаз-* 'писать' — *јаздыр-* 'заставить (поручить) написать', *өл-* 'умереть' — *өлдур-* 'убить' или 'каузировать кого-либо уме-

реть' и т. д. Выделение особой категории каузатива способствует устранению противоречия между местом аффикса *-дыр* в системе порядков и его грамматической трактовкой.

Точно так же на возникновение новой ситуации указывает присоединение взаимно-совместного аффикса *-ш* к двухвалентным прямо- и косвенно-переходным глаголам (взаимное значение). Если исходная основа обозначает несимметричную ситуацию, когда лишь один из партиципантов выполняет определенное действие, то производный глагол обозначает симметричную ситуацию. «требующую двух сопряженных партиципантов, совершающих каждый одинаковое дело» [32. С. 7]; ср.: *оп-* 'целовать' — *опуш-* 'целоваться'. Что же касается совместного значения, выражаемого присоединением аффикса *-ш* к одновалентным непереходным глаголам, то здесь вообще не происходит изменения исходной диатезы; ср.: *агла-* 'плакать' — *аглаш-* 'плакать (вместе)'. Таким образом, формант *-ш* следует считать не залоговым аффиксом, а показателем самостоятельно грамматической категории взаимности—совместности действия (ср. также [33]).

Собственно же залоговым является аффикс *-л*, занимающий третий порядок и маркирующий пассивную диатезу. Что касается элемента *-н*, то в азербайджанском языке его вряд ли можно квалифицировать в синхронном плане как специальный показатель возвратного залога. Аффиксы *-л* и *-н* в качестве залоговых находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Употребление их определяется фонетическими условиями либо историей семантического развития исходной основы, и каждый из них чаще всего выступает в качестве синкретичной формы выражения обоих залоговых значений. Исключение составляет лишь незначительное число основ, причем если употребление аффикса *-н* не связано с фонетическими условиями, то его значение является, скорее, словообразовательным; ср. *де-* 'говорить' — *дежил-* 'быть сказанным' — *дежин-* 'ворчать, брюзжать'; *дөј-* 'бить' — *дөјул-* 'быть избитым' — *дөјүн-* 'биться, трепетать' и т. д. Следовательно, поскольку в азербайджанском языке выражение в глаголе пассивной и возвратной диатез не дифференцировано достаточно четко по форме, постольку нельзя говорить о существовании двух разных морфологических залогов — пассивного и возвратного. По-видимому, здесь можно выделить только один залог, противопоставленный основному, или активному, — неактивный, или пассивно-безличного-возвратный. Конкретные значения этого залога реализуются в зависимости от семантики основы глагола и контекста (ср.: [34. С. 348]).

Таким образом, вышеуказанные аффиксы, каждый из которых занимает строго определенный порядок, являются показателями трех самостоятельных категорий: 1) взаимности—совместности (*-ш*), 2) каузатива (*-дыр*), 3) залога (*-л/-н*). Появление же аффикса *-н* перед каузативным аффиксом *-дыр* и, следовательно, нарушение порядка следования показателей рассмотренных категорий указывает в данном случае не на залоговый, а на словообразовательный характер элемента *-н*; ср.: *сев-* 'любить' — *севин-* 'радоваться' — *севиндир-* 'обрадовать', *сој-* 'чистить, снимать кожуру' — *сојун-* 'раздеваться' — *сојундур-* 'раздевать'. Этим еще раз подтверждается, что форманты, так или иначе влияющие на исходную семантику корня, располагаются ближе к последнему. Следует добавить, что любая инверсия следования рассмотренных аффиксов, по-видимому, связана с десемантизацией одного или обоих показателей и лексикализацией формы в целом; ср.: *ач-ыл-ыш-* 'освоиться, привыкнуть' — от *ач-* 'открывать'; *кэс-ил-иш-* 'рассчитаться, покончить счеты' — от *кэс-* 'резать', 'прервать' [35].

В приведенной таблице порядков особый интерес представляет 5-й столбец, содержащий аффиксы традиционно выделяемых категорий наклонения и времени.

Сосредоточение в одном порядке, т. е. формальная однородность морфов, выражающих различные модальные и временные значения, как уже отмечалось выше, указывает на однородность соответствующих граммем и тем самым позволяет говорить о принадлежности их к единой грамматической категории. Правомерность такой интерпретации обычно разграничиваемых категорий наклонения и времени в агглютинативных языках была убедительно показана А. П. Володиным и В. С. Храковским [26; 37]. Однако материал тюркских языков, в частности азербайджанского, не позволяет безоговорочно принять заключение авторов о том, что «нет различных временных и модальных отношений, а есть реальные (временные) и нереальные (невременные) модальные отношения, которые в агглютинативных языках не объединяются в одной словоформе» [37. С. 51].

Прежде всего, действительно, однородными и, следовательно, составляющими единую категорию, являются граммемы простых времен и наклонений, которые выражены морфемами, занимающими только 5-й порядок. Элементы же 6-го порядка образуют план выражения отдельной грамматической категории, которую можно назвать категорией темпорализации. Показатели этой категории, кстати, уточняют временное содержание сказуемого вообще — как глагольного, так и именного. Форманты *иди* (-ди) и *имиш* (-миш) связывают предикат с прошедшим временем, причем второй показатель имеет также значение пересказательности или адмиративности. Нулевой аффикс 6-го порядка обозначает немаркированный член временной оппозиции «прошедшее/непрошедшее». Напр.: *ал-малы-дыр* '(он) должен взять' — *ал-малы-јды* 'должен был взять', *ал-а* 'взять бы ему', *ал-а-јды* 'взял бы он', *ал-ачаг-сан* 'ты возьмешь (намереваешься взять)' — *ал-ачаг-мыш-сан* 'ты, говорят (оказывается), намеревался взять' и т. д.

Следует вместе с тем иметь в виду, что сочетания элементов из 5-го и 6-го порядков обнаруживают определенную семантическую целостность, т. е. значение целого не во всех употреблениях данного сочетания сводимо к простой сумме значений составляющих элементов. Поэтому в принципе можно было бы объединить в одном порядке как простые, так и сложные аффиксы наклонений и времен. Мы, однако, отказались от этой операции, значительно увеличивающей общее число исходных элементов и усложняющей модель, предпочитая сохранить последовательно проводимое порядковое членение словоформ. Такая система наиболее соответствует преимущественно диаграммному характеру морфологической структуры тюркских глагольных форм. В этой связи примечателен осуществленный А. А. Ахундовым опыт объединения в отдельную категорию глагольных форм азербайджанского языка, образованных показателями *иди* (-ди) и *имиш* (-миш). Ограничившись изъявительным наклонением, автор выделяет два грамматических ряда. Первый ряд включает пять времен (-ды, -мыш, -ыр, -ачаг, -ар), а второй характеризуется употреблением двух спрягаемых форм недостаточного глагола *имэк* и делится на два подряда, каждый из которых имеет четыре формы времени. Второй ряд переводит действия, выраженные временными формами первого ряда, в плоскость прошедшего времени [38] (ср.: [39]).

Если быть последовательным до конца, то, признав временной категориальный статус элементов 6-го порядка, приходится отказаться от традиционной трактовки некоторых аффиксов 5-го порядка как катего-

риальных форм времени, поскольку исключено употребление в одной словоформе показателей двух граммем одной и той же категории, в данном случае — категории времени. Темпоральный признак, т. е. включение определенной точки отсчета, возникает только с присоединением к аффиксам 5-го порядка показателей 6-го порядка, в том числе нулевого. Таким образом, те аффиксы 5-го порядка, которые обычно рассматриваются как временные, сами по себе являются, скорее, либо модальными (-ачаг, -ар), либо аспектуальными (-ыр, -магда, -мыш, -ды). С этой точки зрения интерес представляет ряд концепций, авторы которых по-новому интерпретируют отдельные традиционные времена или всю систему спрягаемых форм глагола в целом, используя преимущественно модальные и аспектуальные признаки [40—42].

Принимая в принципе тезис о категориальном единстве аффиксов 5-го порядка, вместе с тем следует отметить, что оппозиция реальности/нереальности сообщаемого факта и соответственно временных и невременных модальных отношений, по нашему мнению, слишком прямолинейна и не может служить прочной основой противопоставления граммем этой обобщенной категории. Существует целая «шкала реальности», свидетельствующая об относительности этого понятия [43. С. 113—114]. Безусловно, реальными в плане принадлежности к «действительности, объективно существующему бытию вещей» [44. С. 514] являются чувственно воспринимаемое настоящее и память об этом восприятии в прошлом. Степень реальности снижается, если информация передается с чужих слов; ср. формы комментатива с адмиративным оттенком типа азерб. *алырмыш* 'он, говорят (оказывается), брал'. Событие в будущем непосредственно не связано с чувственным восприятием и в этом смысле нереально, но возможно, вероятно, предполагаемо, что и обусловило оценку Е. Куриловичем будущего как наклонения, а не времени [45. С. 143]. Будущее может рассматриваться как реальность лишь постольку, поскольку оно связано с опережающим отражением действительности, возникающим как результат взаимодействия прошлого опыта с настоящим положением вещей [46]. Добавим также, что понятие реальности может трактоваться как более широкое, нежели понятие действительности, бытия. Если всякая действительность реальна, то не всякая реальность является действительной. Известно, что реальность может существовать и в форме возможности [47. С. 26]. Таким образом, континуальный и относительный характер степени реальности не позволяет четко соотносить, с одной стороны, реальность сообщаемого факта с локализацией его на оси времени и, с другой стороны, нереальность сообщаемого факта с невременными модальными значениями типа долженствования, необходимости, возможности, желательности и т. п., получающими свое выражение в формах тюркского глагола. Как справедливо указывает В. З. Панфилов, собственно говоря, «неясно, почему значения желания, долженствования и требования должны рассматриваться как ирреальные, т. е. недействительные, если в соответствующих случаях фиксируется факт наличия желания, долженствования и требования» [48. С. 44].

Многочисленные формально однородные аффиксы простых времен и наклонений в тюркских языках выражают совокупность значений разной природы, которые весьма затруднительно подвести под одно четкое определение, отражающее содержательную сущность данной категории. Эти затруднения связаны прежде всего с тем, что в лингвистике отсутствует общепринятое определение модальности, одним из средств выражения которой являются формы глагольных наклонений (ср.: [49. С. 277]). Вместе с тем хорошо известна, по нашему мнению, вполне

приемлемая традиционная трактовка категории наклонения как отражающей «точку зрения говорящего на характер связи действия с действующим лицом или предметом» [51. С. 457]. Это определение [52] охватывает практически все возможные модальные значения, передаваемые формами времени-наклонения в тюркских языках. Сюда относятся значения как объективной модальности (действительность, возможность, необходимость, включая временные противопоставления), так и пересекающейся с ней субъективной модальности (очевидность/неочевидность, категоричность, комментативность), а также не укладывающиеся в рамки этих двух видов модальности значения волеизъявления, желания и т. д.

Важнейшим объединяющим содержательным моментом здесь выступает тот факт, что все перечисленные выше значения, получающие аффиксальное выражение в составе словоформ глагола, могут быть точно определены лишь посредством ссылки на сам факт речевого общения и ориентации на говорящего. Другими словами, формулировка этих значений зависит от позиции субъекта речи, и именно в этом смысле они отражают отношение сообщения к действительности. И. И. Резвин, называя такого рода значения коммуникативными, отмечает, что «мы имеем в виду не просто значение, важное для акта коммуникации, ибо в той или иной мере каждая категория, каждое значение обслуживает его, а значение, немалое вне акта коммуникации» [54. С. 139] (ср. «шифтеры» Р. Якобсона [55], а также понятие «локации» в семиологической концепции Ю. С. Степанова [56]).

Другим не менее важным объединяющим признаком является функциональная общность: указанные модальные значения выражаются набором аффиксов, один из которых непременно присутствует в составе любой личной глагольной словоформы, и, таким образом, эти значения могут рассматриваться как имеющие статус обязательной модальности глагола. Именно морфологические средства выражения обязательной модальности актуализируют глагол в речи, т. е. позволяют ему оформляться также показателями еще одной обязательной коммуникативной категории — лица и выполнять свою важнейшую функцию предикативного центра высказывания. Представляется, что последняя особенность дает основание предложить для единой категории простых времен-наклонений в тюркских языках специальное название — категория модальной актуализации глагола, которое, как нам кажется, отражает ее функциональный статус и то общее, что объединяет ее отдельные граммы. Термин же наклонение, точнее, синтаксическое наклонение [57. С. 48] можно было бы оставить за аналитическими модальными формами, образуемыми в результате трансформации содержания форм обязательной модальности в сочетании с некоторыми формами вспомогательных глаголов, грамматизованными модальными элементами (напр., азерб. *кэрək* 'должно, необходимо', *экар* 'если', *каш* 'хоть бы, если бы', *аз гала* 'чуть не, едва не' и т. д.), а также под воздействием конструктивных особенностей высказывания. Ср.: *алмышдыр* 'он взял' — *алмыш олар* 'он, возможно, взял', *аласан* 'взять бы тебе' — *кэрək аласан* 'ты должен взять', *алмышдым* 'я взял' — *аз гала алмышдым* 'едва не взял', *алды* 'он взял' — *бэлкә алды* 'может быть, возьмет'.

В заключение отметим перспективность описания семантики форм категории модальной актуализации глагола в отдельных тюркских языках с помощью единой системы дифференциальных семантических признаков, что поможет уточнить довольно сложные отношения между фор-

мами, осветить многие неясные моменты, связанные с их транспозицией, конкуренцией и нейтрализацией.

### П Р И М Е Ч А Н И Я

- <sup>1</sup> Peirce C. Collected papers. Cambridge, Mass., 1960. Vol. 2.
- <sup>2</sup> Якобсон Р. В поисках сущности языка//Сборник переводов по вопросам информационной теории и практики. М., 1970. № 16.
- <sup>3</sup> Следует отметить, что в последние годы иконический аспект языковых знаков все чаще привлекает внимание лингвистов (см.: [4—6]).
- <sup>4</sup> Haiman J. The iconity of grammar: isomorphism and motivation//Language. 1980. Vol. 56, № 3.
- <sup>5</sup> Robertson J. S. From symbol to icon: The evaluation of the pronominal system from Common Mayan to Modern Yucatecan//Language. 1983. Vol. 59, № 3.
- <sup>6</sup> Iconity in Syntax: Proceedings of Symposium on Iconity in Syntax. (Stanford, June 24—6, 1983)/Ed. by J. Haiman. (Typological Studies in Language. Vol. 6). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985.
- <sup>7</sup> Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов//Новое в лингвистике. М., 1970. Вып. 5.
- <sup>8</sup> Рамазанов К. Т. О принципе семантической облигаторности порядка компонентов парных слов—терминов родства и названий частей тела в тюркских языках юго-западной группы//Вопросы семантики: Тез. докл. М., 1971.
- <sup>9</sup> Джавадов А. М. Порядок языковых единиц: (на материале азербайджанского языка): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Баку, 1975.
- <sup>10</sup> Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
- <sup>11</sup> Чейф Уоллес Л. Значение и структура языка. М., 1975.
- <sup>12</sup> Булыгина Т. В. Грамматические оппозиции//Исследования по теории грамматики. М., 1968.
- <sup>13</sup> Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
- <sup>14</sup> Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948.
- <sup>15</sup> Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: Имя. Л., 1977.
- <sup>16</sup> Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
- <sup>17</sup> Щербак А. М. О методике морфологического описания языка//Вопр. языкознания. 1963. № 5.
- <sup>18</sup> Баскаков Н. А. Историко-типологическая морфология тюркских языков. М., 1979.
- <sup>19</sup> Велиева К. А. Формальное описание расстановки морфем азербайджанского слова//Учен. зап. АГУ им. С. М. Кирова. Сер. яз. и лит. 1968. № 1.
- <sup>20</sup> Ревзиц И. И., Юлдашева Г. Д. Грамматика порядков и ее использование//Вопр. языкознания. 1969. № 1.
- <sup>21</sup> Якубова Н. К. Правила формального синтеза узбекских словоформ//Система и уровни языка. М., 1969.
- <sup>22</sup> Пинес В. Я. О моделировании структуры глагольных форм в тюркских языках//Сов. тюркология. 1971. № 3.
- <sup>23</sup> Он же. Исчисление личных глагольных словоформ турецкого языка//Проблемы грамматического моделирования. М., 1973.
- <sup>24</sup> Джикия М. С. Морфологическая структура слов в турецком языке: ранговая структура аффиксальных морфем: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тбилиси, 1975.
- <sup>25</sup> Джамантаева С. Ш. Морфологическая характеристика глагольной словоформы в казахском языке//Вопр. языкознания. 1976. № 2.
- <sup>26</sup> Володин А. П., Храковский В. С. Типология морфологических категорий глагола на материале агглютинативных языков//Типология грамматических категорий. М., 1975.
- <sup>27</sup> Аллатов В. М. Структура грамматических единиц в современном японском языке. М., 1979.
- <sup>28</sup> Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1967.
- <sup>29</sup> Общие принципы применения этой теории к материалу тюркских языков рассмотрены в [30].
- <sup>30</sup> Храковский В. С. Тюркский залог с позиций универсальной концепции днаез и залогов//Сов. тюркология. 1989. № 5.
- <sup>31</sup> Холодович А. А. Залог I: Определение. Исчисление//Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
- <sup>32</sup> Он же. Теоретические проблемы реципрока в современном японском языке//Проблемы теории грамматического залога. М., 1978.

- <sup>33</sup> Джанашиа Н. Н. Залоги в современном азербайджанском языке//Сов. тюркология. 1974. № 1.
- <sup>34</sup> Мельчук И. А. К понятию словообразования//Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1967. № 4.
- <sup>35</sup> Характерный для азербайджанского языка в принципе строгий порядок следования рассматриваемых аффиксов иногда нарушается в других тюркских языках, например, в узбекском, где существуют глаголы типа *тушун-тир-иш-* 'совместно разъяснять', 'объяснять друг другу' (ср.: *тани-ш-тир-* 'знакомить'), *ет-ил-тур-* 'довести до зрелости' (ср.: *камай-тир-ил-* 'быть уменьшаемым') и т. д. [36. С. 196—197].
- <sup>36</sup> Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.; Л., 1960.
- <sup>37</sup> Володин А. П., Храковский В. С. Об основаниях выделения грамматических категорий (время и наклонение)//Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
- <sup>38</sup> Ахундов А. О соотношении категории времени и категории ряда в тюркских языках//Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. 1983. Bd. 33, Hft. 4.
- <sup>39</sup> Иванов С. Н. К объяснению системы времен турецкого индикатива//Turcologica: К 70-летию академика А. Н. Кононова. Л., 1976.
- <sup>40</sup> Мельников Г. П. Значение и смыслы просых форм гагаузского глагола настоящего и будущего времени//Сов. тюркология. 1976. № 5.
- <sup>41</sup> Bazin L. Les classes du verbe turc//Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 1966. T. 81, f. 1.
- <sup>42</sup> Johanson L. Aspekt im Türkischen: Vorstudien zu einer Beschreibung des türkei-türkischen Aspektsystems. Uppsala, 1971.
- <sup>43</sup> Амосов Н. М. Искусственный разум. Киев, 1969.
- <sup>44</sup> Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1975.
- <sup>45</sup> Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
- <sup>46</sup> Кардашева А. С. Опережающее ограждение действительности и время//Вопр. философии. 1981. № 7.
- <sup>47</sup> Антипенко Л. Г. Проблема физической реальности. М., 1973.
- <sup>48</sup> Панфилов В. З. Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения//Вопр. языкознания. 1977. № 4.
- <sup>49</sup> М. Грелл вообще считает, что «вряд ли можно посредством какого-либо определения проникнуть в сущность категории модальности, причем не в силу различного ее понимания, но прежде всего в силу сложности самого понятия» [50].
- <sup>50</sup> Грелл М. О сущности модальности//Языкознание в Чехословакии. М., 1978.
- <sup>51</sup> Виноградов В. В. Русский язык. М., 1972.
- <sup>52</sup> Ср. использование термина «модус» в средневековой европейской логике «в широком смысле для обозначения любого вида квалификации способа связи между субъектом и предикатом» [53. С. 14], причем к модальным относились и временные различия.
- <sup>53</sup> Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1970.
- <sup>54</sup> Ревзин И. И. Структура языка как моделирующей системы. М., 1978.
- <sup>55</sup> Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол//Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- <sup>56</sup> Степанов Ю. С. Семантическая структура языка: (три функции и три формальных аппарата языка)//Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1973. № 4.
- <sup>57</sup> Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941.

А. Т. ТЫБЫКОВА

**ЭКСПРЕССИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАВНЫМ ЧЛЕНОМ  
В ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

Каждый язык располагает определенными средствами для выражения экспрессии. Они есть и в фонетике, и в лексике, и прежде всего — в синтаксисе.

Понятие экспрессивности в синтаксисе связывается с такими конструкциями, которые обусловлены различными приемами построения текста: речевыми преобразованиями языковых структур, нарушением норм сочетаемости, переносом слов в несвойственное им стилистическое окружение и т. п.

В. В. Виноградов отмечал, что в практике живого общения в конкретных ситуациях, когда используются сильная экспрессивная интонация, мимика, жесты, формируются особые структурные типы предложений разговорной речи, в которых отсутствует словесное выражение каких-нибудь членов, ясных из контекста. Однако чаще всего такие предложения не могут быть грамматически наполнены без нарушения синтаксических норм современного русского языка, и изучать их следует не с точки зрения предполагаемой формальной недостаточности или неполноты, а исходя из структурных свойств и функций. При учете структурно-грамматических особенностей так называемых неполных предложений почти каждое из них окажется полным, т. е. адекватным своему назначению и выполняющим свою коммуникативную функцию [1. С. 97—98].

Некоторые типы экспрессивных синтаксических построений отдельными тюркологами в синтаксисе разговорной речи рассматриваются под углом зрения эллипсиса [2. С. 253].

В отдельных тюркских языках Сибири довольно широко распространены и в художественных текстах, и в разговорной речи односоставные предложения. На существование таких предложений указала Е. И. Убрятова, описав следующую особенность якутских восклицательных предложений — постановку центрального слова в форме винительного падежа. Эта особенность объясняется ею тем, что в полной, развернутой форме на его месте должно было бы быть завершающее сказуемое — глаголы *көр-* или *иһит-* 'смотреть' или 'слушать', требующие прямого дополнения. А так как общая форма восклицательного предложения с конечными сказуемыми общеизвестна, то в повседневной речи их конечные формы часто опускаются и остается одно прямое дополнение, выражающее тот предмет или обстоятельство, на которое обращено внимание [3. С. 257]. Эта форма сама становится главным членом односоставного предложения.

М. Б. Балакаев обратил внимание на переход в казахском языке определительных сочетаний в предикативные. По его словам, «определительные в прошлом группы расщеплены на две части: слова в родительном падеже употреблены как действующее лицо, а слова в притяжательных аффиксах входят в состав предикативных групп. При этом известное отношение принадлежности теряет смысл, а аффиксы принадлежности остаются лишь только носителями понятия лица подлежащих» [4. С. 123]. М. И. Черемисина обращает внимание на подобные явления в тувинском и алтайском языках: «В тувинских и алтайских материалах нередко встречается винительный абсолютный с экспрессивной семантикой в функции обращения, напр., тув.: *А-а, оруссу-ун!* (ССо, А, 29) '*А-а, руу-сский!*' (букв.: А-а, русского!); *Ээ, эрдер-ни ыңай!* *Кижиниң төлдер-ин, киштиң кулактар-ын!* (ССо, А, 139) '*Ээ, мужчины, дети человеческие, соболиные уши!*' (Все имена имеют аффиксы винительного падежа: безличного *-ни* или притяжательного 3-го л. *-ин, -ын*); ср. также: *Ээ, Мээн, оглумның эрз-ин!* (ССо, А, 19) '*Ээ, мой храбрый сынок!*' (букв. моего сына=моего храбрость=в.п.=его). Здесь можно видеть восклицательное предложение в форме винительного экспрессивного. Во всех таких случаях винительный, конечно, не является падежом прямого дополнения» [5. С. 55]. Указанный тип экспрессивных предложений тувинского языка подробно описан Д. А. Монгушем [6. С. 26—32].

Для алтайского языка характерны экспрессивные предложения с предикативным членом, который выражен формой винительного падежа притяжательного (реже — безличного) склонения. Эта словоформа обычно выступает в составе притяжательного сочетания, первый член которого имеет форму родительного падежа и представляет собой субъект, т. е. является носителем того признака, который выражен второй — предикативной формой. В современном алтайском языке такой тип предложений является самостоятельной синтаксической конструкцией, хотя исторически и здесь, вероятно, присутствовали глаголы типа *көр-* 'смотреть', *ук-* 'слышать', *бил-* 'знать', *де-* 'говорить'. Например: *Ба-ча! Каранга кайназын дезем... А онын көбрөн-көкип турганын!* (ТК, К1, 63) 'Вот незадача! Я-то хотела, чтобы кипел потихоньку... А он как бурлит-то!'; *Бу көпөгөйш-көпөгөйш карлу энгирдин жаражын! Көгөлтөрим жылдыстарлу көңкөрө түшкен тенгеринин бийигин!* (КЛ, П, 195) 'Как красив этот с синеватым снегом зимний вечер! Как высоко склонившееся вниз небо!'; *Ух, шилемир! Күжүл! Мынын јаш келиндерле ойноштоп жүрген бүдүжин* (АА, УБТ, 34) 'Ух, негодник! Крыса! С его-то видом, да еще с молодыми женщинами зангрывать!'. Для усиления экспрессивно-оценочного оттенка в подобных предложениях употребляются также и междометия: *Ай-ай, сенин уйалбазыңды* 'Ай-ай, какой ты бессовестный!'; *О-ох, таардын уурын!* 'О-ох, какой тяжелый мешок!'; *Та-ай, суунын ажынганын!* 'Надо же, река-то как разлилась!'.

Опираясь на исследования Д. А. Монгуша по тувинскому языку и сравнивая его данные с материалами алтайского языка, мы задались целью показать функционирование этих конструкций в речи и способы их образования и возникновения несколько шире, причем в сопоставлении с другими языками нашего региона — хакасским и шорским. Однако информанты не подтвердили наличие в этих языках экспрессивных односоставных предложений с главным членом в винительном падеже. Для соответствия алтайскому *Бу кыстың јаандааганын* 'Как выросла эта девушка' в хакасском языке употребляется *Хайди бу хыс өс парган*, в казахском — *Бул кыстың өскай*, в шорском параллели пока не найдено.

Возможно, подобные конструкции наиболее характерны для этих трех языков — алтайского, якутского и тувинского и употребляются для выражения эмоционально-оценочного отношения говорящего к логическому субъекту — одобрения (радости, восхищения, удивления и т. д.) или неодобрения (сожаления, порицания, иронии и т. п.). Логическим субъектом обычно выступают имена существительные и их заместители, а предикатами — причастная форма на *-ган*: *Алтайыстын жаранганын!* 'Как похорошел наш Алтай!'; *Калак ла де, Учуралдын жүре бергенин!* 'О, как жалко, что Учурал уехал!' и субстантивированные имена прилагательные: *Ба-таа, бу ла момыш деген неменин жакшызын, жаражын!* (ТК, К1, 62) 'Надо же, как хороша, красива эта так называемая (коллективная) помощь!'; *Угар тандактан кызара жалтыраган тошторды аяктап отурганча, тектирге он беш кире ан чыгып келген. Көбөркийлердин жаражын* (К1, О1, 73) 'Пока Угар любовался красноватым заревом ледников, на седловину горы поднялись около пятнадцати маралов. Какие они красивые, милые'; *Бу Чергийдин чачтарынын каразын ла узунун* (УБ, Т, 153) 'Какие черные и длинные волосы у этой Чергий'.

Очень часто в качестве предиката выступают оценочные слова с негативной семантикой, образованные от имен существительных при помощи аффикса обладания, например: *Ух, уйаттузын... А бистин библиотекабыс кандый жокту* (К1, О1, 111) 'Ух, как стыдно... А наша библиотека так бедна'; *Ох, бу сөстөрдин корондузын* (ТК, Т, 43) 'Ох, как едки эти слова'; *Кезиктери, колхоз бу жууктарда акча үлеген, эмес, кол куру келер. Короны-ын, короны-ын, кыртышту-узын* (К1, О1, 140) 'Колхоз в эти ближайшие дни деньги не делил, некоторые приходят с пустыми руками. Горе-то, горе-то, возмутительно!'; имена существительные: *И та-тай, ол бир капуста деп немезинин жыдын!* (УБ, С, 161) 'Фу-фу, какой запах у этой так называемой капусты!'; *Сенин уйалбай ыйлап турган бүдүжинди* (АА, УБТ, 30) 'Ну и вид-то у тебя, не стыдящегося плакать!'; счетные имена — *көп* 'много', *ас* 'мало': *Улустын көбизин* 'Как много народу-то!'; *Акчанын азын* 'Как мало денег-то'. В редких случаях в подобных конструкциях первым компонентом могут выступать субстантивированные причастия в притяжательном оформлении: *Бергениннин азы-ын!* 'Как мало данное тобою'.

Тот факт, что эти конструкции сложились в результате устранения сказуемого — глагола восприятия (*көр* — 'видеть', *ук* — 'слышать', *бил* — 'знать', *кайка* — 'удивляться' и др.), подтверждают материалы и тувинского, и якутского, и самого алтайского языка. Полные, развернутые предложения с конечными сказуемыми этого типа существуют и в настоящее время параллельно с усеченными. Но это уже другие типы предложений, разные модели, поскольку «краткий» тип построения предложений — без этих сказуемых — стал нормативной синтаксической конструкцией алтайского языка. Ср., например: *Көрзөгөр, Монгулдайдын ол калганчы кайы торт ло кандый бир жарлу поэтин магына түйнөйлеж бергенин* (УБ, Т, 333) 'Посмотрите, как последний кай Монгулдая уподобился песне (славе) какого-нибудь известного поэта!'.

Как видно из сравнения вышеприведенных конструкций, язык находит определенные формальные средства, чтобы достаточно полно выразить чувства, оттенки настроений и оценок говорящих. Значительную роль в достижении должного эффекта играют определенные изменения нейтрального словорасположения. В конечную позицию предложения выносятся коммуникативно значимый член, который выделяется и интонационно.

Эллиптические предложения с именами в винительном падеже способны передавать разнообразные экспрессивные смыслы, в частности

сожаление говорящего по поводу совершившегося события, действия: *Адыжатан немени немени!* (КЖ, ОЖ, 180) 'В перестрелку вступить надо было, надо было!'. *Тў-ўк, ол машинаны!* (КЖ ОЖ, 218) 'Тьфу, эту машину!'

Для усиления эмоционально-оценочного отношения говорящего, выражающего жалость, сожаление, осуждение и другие эмоции, имя существительное в винительном падеже может присоединять к себе замену — личное местоимение 2-го и 3-го л. ед. ч., редко — мн. ч. в винительном падеже, например: *Те азыйда јўрўмди оны тен не деп айдар* (АА, УБТ, 4) 'А о прежней жизни, о ней что можно говорить?'; *Ох кўрўсти сени. Эмди мыны канайдар!* (АА, УБТ, 18) 'Ох, ну тебя к черту! Теперь что делать с этим?'; *Учукандарды слерди. Азыра да, азыраба да, толк јок немелер* 'Ну вас, сорванцов... Корми не корми, толку нет'. В таких предложениях существительное обычно имеет оценочно-характеризующую семантику.

Следует отметить, что предложения подобного типа чаще всего встречаются в монологической речи. Видимо, необычная конструкция — «двойной винительный падеж», где представлен объект оценки и выражено отношение говорящего к нему, позволяет говорящему ярче выразить свою мысль: *Кўбўркийлерди ле слерди! Бош ло шыралары канган ошкош* (КЛ, АК) 'Милые же вы мои! Вероятно, совсем уже измучились'; *Бараксанды ла сени. Билип јадым, сее кандый кјч. Килеп јадым* (КЖ, АЈЎ, 15) 'Бедный ты мой! Понимаю, как тебе трудно. Жалею'; *А јўрўм меге килебеди. Чала менен айрыларга тўрч. Шогымды оны... База ла бир эмеш јўрейин деп санангам* (ТК, КІ, 185) 'А жизнь не жалела меня. Кажется, хочет со мной расстаться. Но проказница же она... Хотел еще немного пожить'; *Эрликте сени! Ачыбаган чегенди шыбадып, кайткан кижжи deer...* (КЛ, АК, 239) 'Ну и дьявол же ты! Что же надделал ты, заставив меня гнать араку из недобродившего чегеня (айрана)!?'; *Таай карындажымды сени. Акыр ла јас келзин. Кадын ичи дўбўн бир-бир катап кожо барарыс* (ТК, КЖ, 185) 'Ну, мой бедный младший брат! Погоди, пусть наступит весна, хотя бы один раз вместе съезлим в долину по реке Катвни'.

Говорящий, используя эту конструкцию, может сообщить о действии, имевшем место в прошлом. В таких случаях форму винительного падежа принимает причастие на *-ган*, например: *Ол конфеттерди, печеньеелерди јип отирганымды* (ТК, КЖ, 189) 'Ну и поел же я тогда тех конфет, печений' (аналогичные примеры см. в [6. С. 31]).

Из приведенных примеров видно, что форма винительного падежа в предложениях способна играть разные роли: раздвигая границы своих синтаксических функций, она не только выражает прямой объект, но и является предикативным членом в экспрессивных предложениях. В экспрессивных же предложениях при опущении переходного глагола, управляющего аккузативом, имена существительные и субстантивированные имена в этой форме внутренне перестраиваются. Сохраняя свою собственную форму прямого объекта, они принимают на себя функции опущенного (или имплицитно представленного) главного глагольного члена предложения, т. е. становятся полноценными предикатами односоставных предложений.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградова В. В.* Введение: Морфология и синтаксис как составные части грамматики // Грамматика русского языка. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2: Синтаксис. Ч. 1.
2. *Сафиуллина Ф. С.* Синтаксис татарской разговорной речи. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978.

3. *Убрятова Е. И.* Исследования по синтаксису якутского языка. М.; Л.; Изд-во АН СССР, 1950. Ч. 1.
4. *Балаклев М. Б.* Современный казахский язык: Синтаксис. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1959.
5. *Черемисина М. И. и др.* Предикативное склонение причастий в алтайских языках. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984.
6. *Монгуш Д. А.* Предложения с главным членом (сказуемым в винительном падеже) в тувинском языке//Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986.

### И С Т О Ч Н И К И

- АА, УБТ — *Адаров А.* Уча берген турналар. Горно-Алтайск, 1979.
- УБ, С — *Укачин Б.* Сүүш ле бштбжү. Горно-Алтайск, 1981.
- УБ, Т — *Укачин Б.* Туулар туулар ла бойы артар. Горно-Алтайск, 1985.
- КЈ, АЈО — *Қаинчин Ј.* Айлыс жангыс бзбктө. Горно-Алтайск, 1984.
- КЈ, ОЈ — *Қаинчин Ј.* Ол жараттан. Горно-Алтайск, 1980.
- ТҚ, Т — *Төлбсөв К.* Таныбаган. Горно-Алтайск, 1980.
- ТҚ, КЈ — *Төлбсөв К.* Кадын жаскыда. Горно-Алтайск, 1985.
- КЈ, П — *Кокышев Л.* Повесть ле куучындар. Горно-Алтайск, 1962.
- КЈ, АК — *Кокышев Л.* Алтайдын кыстары. Горно-Алтайск, 1980.

## ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

М. А. ДУРБАЙЛО

## ГАГАУЗСКИЕ НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ С ОБРАЗОМ ЖЕЛТОЙ ЗМЕИ

В начале XX в. русский этнограф и фольклорист В. А. Мошков опубликовал большой научный материал, собранный им в гагаузских селах Бессарабии [1—3]. Этим было положено начало изучению этнографии и фольклора гагаузов. Интерес к культурным традициям самобытного народа пробудился и в тюркологической среде. Сбор и изучение фольклора гагаузов (в селах МССР и УССР) был возобновлен советскими тюркологами в 40-х годах XX в., причем следует отметить большие заслуги в этом направлении Л. А. Покровской, которая в своих работах ставит вопрос о необходимости сбора и изучения гагаузского фольклора в свете требований советской фольклористики [4; 5], а также придаст большое значение анализу фольклора гагаузов в общей системе фольклора балканских народов. И ей же принадлежит идея выделения из песенного фольклора гагаузов жанра народных баллад, характерных для песенного творчества балканских народов [4. С. 3]. «В гагаузских балладах, — пишет Л. А. Покровская, — в большинстве своем имеющих реально-историческую основу, часто присутствуют элементы сказочной фантастики» [4. С. 5], а в эпических песнях встречаются мотивы и образы, восходящие, по-видимому, к древним мифологическим представлениям славян, нашедшим отражение в их фольклоре [4. С. 6]. Это можно подтвердить тем, что в народных балладах гагаузов сохранились архаичные мотивы контакта людей с животными и птицами, а также образы астральных мифов: звезды, солнце, небо, луна. Некоторые животные и птицы наделены даром человеческой речи. Так, «медведь предлагает Стояну бопоться с ним, волк уносит у богатой лавочницы ребенка за то, что она обвешивала бедняков» [4. С. 6], желтая змея объясняет путникам, каким образом юноша оказался у нее в пасти. Но животные не только наделены речью, они выполняют фантастические действия, часто дружественные по отношению к человеку. Так, Каража-картал (Черный орел, а возможно—Олень-орел) в клюве несет воду больному юноше; сизый голубь ищет семью и дом невольника, но приносит ему печальную весть о том, что дом его разрушен, сад высох, а семья погибла; ворона вылетает на поиски суши во время всемирного потопа, но возвращается ни с чем, а затем вылетает голубь и приносит весть о суше.

Другие животные в балладах являются носителями злого начала. Так, желтая змея выполняет волю женщины-матери, проклинающей своего сына. Медведь нападает на свадебный поезд и требует невесту. За честь невесты вступается юноша Иванчу и безоружный одолевает медведя. Медведь нападает и на одинокого охотника и предлагает ему бороться (меряться силой), но в этой борьбе побеждает охотник. Эти

сюжеты баллад несут в себе черты раннего эпоса [4. С. 6], где «встреча с дикими животными также приводит к схватке, порой носящей характер пробы сил» [6. С. 64]. И в гагаузских балладах, как в раннем эпосе, «трудности для анализа создает идеологическая и жанровая нерасчлененность» [6. С. 22]. Речь идет о весьма распространенном явлении в фольклоре — «идеологическом синкретизме», в котором обнаруживаются «зачатки искусства, религии и представлений о природе и обществе» [6. С. 22].

Гагаузские баллады пронизаны этими чертами, но особенно отчетливо эти особенности проявляются в балладах-мифах. Так, в сюжете баллады о проклятой Анчи (Яне) можно выявить элементы словесной магии, музыкального искусства, религиозные и мифологические мотивы [7]. Мать выдала замуж свою дочь Анчи и рано утром ее прокляла. Проклятье заключается в том, что девушка должна на берегу Дуная (Тони) ждать, «когда Дунай спляшет и рыба запоет, тогда придет жених и состоится свадьба». Анчи идет на берег Дуная и тщетно ждет там — до тех пор, пока кровь ее не превратилась в воды Дуная, волосы — в камыш на берегу, а кости — в камень. В основе этого сюжета лежит комплекс представлений, свойственных антропологическим мифам. Для этой традиции «характерно то, что первоначально все имеет антропоморфный облик — все существа, животные, предметы и явления природы, и даже Вселенная (Солнце, Луна, звезды) описываются как объекты, происходящие из частей тела „первопредка“» [8. С. 87]. Происхождение человека эта традиция приписывает действиям «богов, демидургов, культурных героев» [8. С. 37], которые создают первых людей из самых разнообразных материалов: костяка животных, зверей, рыб, птиц, орехового дерева, из палки, а то и просто «из глины, земли (ирокезская мифология)» [3. С. 87]. Но смертью первого антропоморфного существа (свойство религии первобытного человека) объясняется в ряде мифологических систем создание Вселенной: в скандинавской мифологии плоть убитого богами первопредка — антропоморфного великана Имира — стала землей, кости — горами, небом — его череп, морем — его кровь. Близкий мотив — в иранских и ведийских текстах, в древнерусской «Голубиной книге», в мифологии догонов, согласно которой каждой части человеческого тела соответствует какая-либо часть внешнего мира, рассматривающегося как огромный человеческий организм: скалы — это кости, почва — внутренности, красная глина — кровь [8. С. 88]. При этом важную созидательную роль играет слово, участвующее в создании человека и его составных частей. Особенно большой созидательной силой обладает произнесение имени или названия создаваемого объекта [8. С. 88]. Эти мифологические мотивы явно ощутимы в сюжете баллады-мифа о превращенной Анчи.

В гагаузских балладах выявлены пласты образов и мотивов весьма раннего происхождения. Так, распространенная баллада о мучениях молодого парня, проклятого матерью, в пасти огромной желтой змеи насыщена элементами, восходящими к древним мифологическим и религиозным воззрениям предков гагаузов. И исследовать эти архаические представления надлежит с учетом «первобытных обрядов и мифологических воззрений» [6. С. 24] как балканских, так и тюркских народов, в определенной мере повлиявших на этногенез гагаузов.

Анализ этих баллад позволил бы пролить свет на древние верования гагаузов. Кроме того, в балладах отражены (в трансформированной форме) представляющиеся ныне «причудливыми» и «странными» семейно-родственные отношения, которые в той или иной степени опирались на обрядово-магические и религиозные воззрения древних пред-

ков гагаузов. В ходе такого анализа необходимо выявить по мере возможности и межэтнические связи, которые наложили свой отпечаток на поэтику и содержание этих баллад. Таковы основные задачи данного исследования. Разрешение их должно способствовать освещению многих проблем ранней истории, культуры, этногенеза гагаузов.

Отражением мифологических представлений предков гагаузов являются баллады с образом желтой змеи.

Ай гөклерä, гөклерä,  
 Не пек үүсек ерлердä. .  
 Шу байырын аардында  
 Бир гүмä гүл ачмыш.  
 О гүлүн да көкүндä  
 Бир да йылан сарылмыш.  
 Сарылмыш, колач олмуш.  
 Гүн гиби йалабаармыш,  
 Атеш гиби йанармыш.  
 О йыланымда аазымда  
 Бир деликанны чожук.  
 О онсекиз да йашымда...  
 Уч да йолжу гечәрмиш  
 — Хей, йолжулар, йолжулар  
 Гелин, куртарын бени.  
 Бу йыланым елиндän,  
 Бу душманым да аазымдан.  
 О йылан да бөлä деер:  
 — Хей, йолжулар, йолжулар  
 Тутунуз йолунузу.  
 Ону бана анасы  
 Күчүк йаштан адады.  
 Анасы ону гүүсүна капаарды  
 Гүүсүна капаарды  
 Бөлä да бетфа едäрди:  
 — Хей оолжаазым,  
 оолжаазым,  
 Сән беним канымы емеерсин  
 Аареттä да, оолжаазым,  
 Йыланнар сени бөлä емсин.

Ах, небеса, небеса,  
 Какие высокие места.  
 Там, за горой,  
 Куст розы расцвел.  
 А под кустом (у корня)  
 розы той

Змея лежит,  
 В клубок свернулась.  
 Как солнце, блестит,  
 Как огонь, горит.  
 А в пасти змеи той  
 Парень молодой, холостой.  
 Ему восемнадцать лет...  
 Три путника шли там.  
 — Эй, путники, путники,  
 Придите и спасите меня  
 Из пасти змеи этой,  
 Из пасти злодея этого.  
 А змея так говорила:  
 — Эй, путники, путники,  
 Ступайте своей дорогой.  
 Его мать мне его  
 С малых лет обещала.  
 Мать его к груди прижимала,  
 К груди его прижимала  
 И так проклинала:  
 — Ах, сынок, сынок мой.  
 Ты кровь мою сосешь,  
 А на том свете, сынок,  
 Пусть змеи тебя так сосут.

(Баллада записана от Меглели, г. Чадыр-Лунга, 1972)

Баллада донесла до нас основные мифологемы астральных мифов, встречающихся у различных народов мира. Это образ горы («байыр»), змеи («йылан»), которая лежит под деревом (кустом розы, желтенького цветочка), в других вариантах — ярко светят звезды («йылдызлар»), синее небо («гөк»), одновременно и солнце светит.

Анализ показал, что сюжет гагаузской баллады с образом желтой змеи имеет многочисленные параллели не только в мифологии близких к гагаузам народов (например, молдаван, румын, болгар), но и в мифологической традиции народов, с которыми гагаузы не были связаны исторически и культурно.

Сюжет баллады можно условно разделить на две части. В первой части описывается место трагического события (заглатывания юношей желтой змеей). Поэтому гору («байыр»), где растет дерево (садик, желтенький цветочек) или куст розы, под которым лежит змея, будем

рассматривать в числе основных мифологем в сюжете подобного рода баллад.

Мифологические функции горы многообразны. Гора часто выступает в качестве образа мира, модели Вселенной, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства [8. С. 311]. «Гора находится в центре мира, там, где проходит его ось. Продолжение мировой оси вверх (через вершину горы) указывает положение Полярной звезды, а ее продолжение вниз указывает место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю» [8. С. 311].

Образ горы в балладе также обладает «всеми параметрами космического устройства». Так, гора («байыр») расположена там, где небо («гёк») и яркая звезда («йылдыз») соприкасаются с ее вершиной. Иногда в балладах упоминается луна, которая освещает вершину горы. Такое скопление космических тел возле горы («байыр») представляется не случайным. Вершина горы примыкает к небу, где светит яркая звезда, возможно, когда-то называвшаяся Полярной звездой («Чолпан»), — она известна в фольклоре не только тюрков, но и гагаузов. Если попытаться построить своего рода модель горы из гагаузской баллады, то уместно будет выделить срединную сферу, куда спускаются невидимые корни дерева (кустика, цветочка), иногда садика. Эта сфера соответствует земной поверхности. Основание же горы — это как вход в нижний мир («аарет»), где происходит действие. В гагаузских сказках герой обычно спускается в другое царство (мир мертвых) через отверстие (дыру, яму, расщелину) в земле. Как правило, неподалеку растет огромное дерево, являющееся своего рода ориентиром для спуска на тот свет. В сказках это дерево вырывает с корнем длинноротый старик и тащит за собой в нижний мир.

Образ горы мы встречаем в гагаузских сказках, легендах, песнях. Он известен и в мифологии ирано- и тюркоязычных народов Арало-Каспийского региона, в классической индуистской мифологии и космографии. Причем величайшая гора Меру в индуистской мифологии находится в центре земли под Полярной звездой и окружена океаном [8. С. 311]. С образом горы Меру связан мотив пути в Амаравани, где лежит змей Васуки, который опоясывает Меру [8. С. 312] и подстерегает путников. Как видим, интересующая нас гагаузская мифологическая структура вписывается в целый ряд аналогичных ей построений. Поиски в этой области (анализ мифологической структуры с образами горы, змеи, дерева, путников) привели нас к работе А. К. Акишева [9], в которой глубоко освещены вопросы искусства и мифологии саков. Нас особенно заинтересовал сюжет изображения на обложке книги А. К. Акишева. Он не только близок к композиции гагаузской баллады, но и позволяет восстановить ее недостающие звенья, запечатленные здесь зримо. Такое совпадение дает нам возможность сделать вывод о том, что в далеком прошлом мифологические построения саков и предков гагаузов, вероятно, имели единую основу, общий корень.

А. К. Акишев справедливо считает, что «искусство саков демонстрирует связи с творчеством племен Южной Сибири (Пазарька), с другими искусствами ахеменидского Ирана и Бактрии» [9. Т. 5]. Следует учесть и значимость межэтнических связей, которые могли послужить источником общих мифологических моделей. На наш взгляд, контакты саков и предков гагаузов и саков происходили в нескольких регионах евразийских степей, а также далеко на востоке, за их пределами.

Мифологическая конструкция с образами горы, дерева, змеи под горой, путников встречается и у китайцев, о чем свидетельствует «Каталог гор и морей» [10] — древнекитайский памятник, содержащий све-

дения из области географии, ботаники, зоологии, народной медицины, мифологии, народных верований и религии.

Приведем некоторые цитаты: «Гора под названием Луньчжэ, на которой растет дерево, которое похоже на бумажное дерево, находится далеко от глаза...» [10. С. 33]. А вот свидетельство о змеях, которые обитают в таинственных горах: «В пятистах восьмидесяти ли к востоку есть гора под названием Юйгао. Там водятся много чудовищ, зверей и больших змей» [10. С. 33]. И еще: «...в шестидесяти ли к западу есть гора под названием Великая Цветущая. Она отвесна со всех сторон и четырех уголков. Там не водятся ни птицы, ни животные, ничего... там обитает змея, называемая Фэйи, с шестью ногами и четырьмя крыльями» [10. С. 34].

Не менее интересен и сюжет рисунка «Китайское изображение мифологизированных гор» (фрагмент свитка «Путники в горах», датированного концом VII—началом VIII в.) [8. С. 311]. К вершине горы по дороге идут путники, на вершине растет дерево, вдали видна одинокая звезда... Путники, очевидно, направляются в грот или в пещеру, символизирующую вход в потусторонний мир [8. С. 311]. При сопоставлении сюжетов китайского рисунка и гагаузской баллады с образом желтой змеи можно выявить немало совпадений и параллелей. Так, общими элементами являются путники, гора с «населяющими» ее «персонажами», дерево на вершине, одинокая звезда и целый ряд других, что, на наш взгляд, позволяет говорить о глубинном этнокультурном воздействии; не исключено, что именно китайская мифологическая схема легла в основу своего рода сюжетной матрицы, вариант которой находим в гагаузской балладе. Так же много параллелей в поэтике, композиции, образном строе можно обнаружить в гагаузских и китайских сказках мифологического характера. Все это свидетельствует о каких-то тесных межэтнических связях далеких предков гагаузов с китайскими народами. Вполне возможно, что эти связи осуществлялись еще в тот период, когда племена гуннов обитали на территории Китая. Так, «сандык» (гроб), упоминаемый в песнях гагаузов, возможно, ведет свое происхождение от культуры гуннов: своего рода перспективный чертеж этого гроба был обнаружен при раскопках погребений гуннов в горах Ноин-Ула [11. С. 24].

Интересным представляется вопрос о происхождении цветовой характеристики змеи из баллады. Почти во всех фольклорных жанрах гагаузов она желтого цвета. Это прежде всего указывает на ее связь с солнцем, причем цветовая характеристика змеи совпадает с одним из элементов цветовой символики горы из других восточных мифологий. Так, в «ламаистской мифологии [гора] (Сумеру) в форме пирамиды окружена семью цепями гор, между которыми находятся моря; каждая сторона пирамиды имеет цветовую характеристику: южная — синий цвет, западная — красный, северная — желтый, восточная — белый» [8. С. 312]. Желтый цвет северной стороны пирамиды указывает на почитание солнца, его лучей.

В мифологиях других восточных народов, в частности китайцев, дракон также имеет желтую окраску [12; 13]; аналогичная же цветовая характеристика (солнечный код) присуща и драконам, чудовищам, злодеям в других мифологических традициях, что говорит об универсальности символики желтого цвета. Образ змеи в мифологии претерпел известную эволюцию, первоначально он олицетворял плодородие и был представлен почти во всех мифологических системах [8. С. 468].

Вероятно, позднее змею стали представлять в образе огнедыша-

щего чудовища. В балладе змея говорит путникам, чтобы те не смели подойти к ней, так как она «может их испелить». В некоторых вариантах баллады змея то ли «восседает» на коне, то ли составляет с ним некое синкретическое существо (заметим, что изображение змеи, наделенной чертами коня, встречается среди наскальных росписей верхнего палеолита) [8. С. 468]. Но это еще не дракон. Например, в классическом китайском драконе сочетаются черты девяти существ [12. С. 59]. В мифологии народов Африки змей связывается с радугой и выступает в качестве поглотителя вод, змей — повелитель дождя и воды встречается в ранней мифологии древнейших земледельческих культур юго-восточной Европы VI—IV тыс. до н. э. [8. С. 468—469]. В такой ипостаси в гагаузских сказках сохранился образ Еврема, который часто находится в дружественных отношениях с главным героем.

Змее из баллады приписываются некоторые человеческие черты (например, жертву она «держит руками»), что также находит определенные соответствия в китайской мифологии. Наличие антропоморфных черт у зооморфных персонажей китайской мифологии и гагаузской баллады говорит о возможной общности исходных мифологических построений, общности представлений, по всей видимости, тотемического характера. Эти образы объединяет и наличие растительной атрибутики, в существенной степени сходной, относящейся к единому семантическому коду. В китайской мифологии с драконом «ассоциированы пахучие, ядовитые и лекарственные растения» [12. С. 67]. Растительные атрибуты желтой змеи из баллады (куст розы, желтый цветок, садик) также несут в себе ряд черт этого кода. Все растения, с которыми связана змея, пахучи. Одновременно они обладают и лекарственными свойствами, вызывают состояние одурманивания или эйфории. Кроме того, «запах растений в этом коде выполняет ту же функцию, что и мирровое дерево» [12. С. 70]. Благодаря этому пахучие растения являются связующим звеном между небом и землей.

Мифы с образом змеи (змея, дракона) чрезвычайно распространены и известны во множестве вариантов, но при этом растительный атрибут змеи (дерево, цветок, куст) всякий раз сохранялся. Многочисленные фрагменты индоевропейских, балтских, балканских сюжетов в той или иной вариации донесли до нас схему «змеи и дерево». Так, в реконструированных праславянских, общиндоевропейских текстах о боге Грозы прослеживается прамиф о боге Грозы и драконе (змее). Исследователи считают, что «миф о боге Грозы при наличии ряда широких типологических параллелей у разных народов мира можно считать ... общим наследием древних индоевропейских традиций» [14. С. 4]. И эта мифологическая конструкция совпадает со схемой сюжета баллады о желтой змее. Бог Грозы находится наверху, змей — внизу, у корней трехчастного миррового дерева, на черной шерсти [14. С. 5]. Таким образом, мы постепенно выявляем генезис гагаузской баллады и ее место в мифологической традиции — весьма архаической и разветвленной.

Особую область нашего исследования составляет вторая часть сюжета баллады, в которой связь желтой змеи и женщины-матери, принимающая «союзно-договорной характер» [6; 15. С. 13], играет важную, сюжетобразующую роль.

Образ женщины в древних религиях (мифологиях) и искусстве занимал значительное место. Скульптурные фигуры женщин, найденные в местах стоянок древнего человека, вероятно, почитались как сакральные [16. С. 5]. Женщине приписывались посредническая роль между охотничьим коллективом и животным миром, свойство быть магической

пособницей на охоте (ср. образ хозяйки зверей в развитых мифологиях), функция прародительницы в тотемистических сообществах, объединенных родством с животным — тотемом [16. С. 5].

В гагаузской балладе в основе союзно-договорных отношений между женщиной-матерью и желтой змеей лежат какие-то древние представления о посреднической роли женщины в определенного рода ритуалах и обрядах.

Коллектив охотников «стремился при помощи и посредством ритуалов к преодолению границы между своим миром и иным миром, а также с помощью ритуального контакта достичь связи с животным миром» [16. С. 6]. К таким ритуалам можно отнести насыщенный комплекс обрядовых действий, связанных с инициацией. Эти ритуалы, как правило, проводились «вне лагерей (стоянок человека) в сакральных природных урочищах, на площадках» [16. С. 6]. Именно такое сакральное место описывается и в гагаузской балладе с образом желтой змеи. Но прежде, еще до инициации, следовало совершить обряды принятия детей в семью, которые, по сути дела, начинались с момента рождения ребенка. Поскольку архаическому сознанию было свойственно представление о том, что мать и новорожденный «...находятся в тесном контакте с мифическими силами» [17. С. 36], то для принятия их в семью и род необходимо было совершить целую систему обрядовых действий, посвященных «...очищению разрыва контакта с мифическими (вредными) силами и пространством» [17. С. 36]. Одним из таких «очистительных обрядов» было «возвращение плаценты», означавшее сакральное очищение матери и ребенка, что было первым шагом к вовлечению ребенка в общинный коллектив. Обязательность проведения таких обрядов диктовалась тем, что «в течение беременности и в момент родов считалось, что мифический мир опасно надвигается на общинный коллектив и угрожает ему» [17. С. 36]. Поэтому, с одной стороны, нужно было укрепить родоплеменной коллектив новым человеческим существом, а с другой стороны — строго соблюдать ритуальные нормы, так как при их нарушении «мифические силы грозили многими бедами» [17. С. 36]. Во всех этих ритуалах (и соответственно связанном с ними круге представлений) огромную роль играла женщина.

Но не меньшее значение придавалось и системе обрядов при наступлении половой зрелости юношей (девушек), когда половозрастные взаимоотношения порождали институт инициации [18]. Целая система акций «знаменовала переход подростков в ранг взрослых мужчин, а девушек — в нубильное состояние». Несмотря на то, что «обряды инициации включали в себе тяжелые, а иногда мучительные испытания, а некоторые из них представляли собой как бы особую форму жертвоприношения» [18. С. 59], инициация была необходимым актом: «ребенок, посвящение которого в юности затягивалось, подвергался издевательствам со стороны своих сверстников и остро ощущал собственную социальную неполноценность» [18. С. 59].

Во время обряда неопиту сообщались мифы племени, которые должен был знать только взрослый мужчина [19. С. 544]. При этом обряд представлял собой как бы инсценировку мифа, а миф выступал как обоснование совершавшегося обряда, его словесное (магическое) истолкование. Мотивы, связанные с инициацией, встречаются в искусстве повсеместно (речь идет, заметим, не только об архаических текстах). Сохранились они и в исследуемой балладе.

В цикл инициационных обрядов включались и магические действия, танцы, словесные формулы. Но слово, первоначально служившее магическому акту, «с течением времени, по мере забывания смысла обряда,

начинает отрываться от него, разрастаться за его счет, а затем приобретает магическую силу (оренду)» [20. С. 67]. Очевидно, впоследствии именно эта магическая сила (оренда) слова служит отправной точкой порождения фольклорного текста. А дальше «фольклорное явление, порожденное участием этнографического материала, отрывается от него, развивается самостоятельно» [21. С. 8]. При этом не каждый этнографический субстрат способствует возникновению фольклорного текста, потому что «механизм превращения собственно этнографического материала в художественное обобщение весьма сложен» [21. С. 8]. Отбор такого материала происходит в течение долгого времени и подчиняется уже не законам этнографии, но эстетическим принципам фольклора. И все же «многие бытовые явления приобретают специфический интерес для фольклора со стороны сюжетобразующих возможностей тогда, когда оказываются в противоречии с движением жизни, с сознанием коллектива»; на этой почве рождаются сюжетные темы, полные внутреннего напряжения и драматизма [21. С. 13]. Но даже в таком случае, по словам Б. Н. Путилова, «в фольклоре нельзя искать описание того или иного обряда, обычая, у фольклора своя система подхватывания этнографического материала, свои закономерности» [21. С. 10].

В исследуемой нами балладе можно выявить и этнографический субстрат. И здесь наше внимание привлекает все тот же образ желтой змеи, который можно связать с обрядами инициации, включавшими в себя, в частности, ритуал вхождения в сооружение, «имеющее зооморфные черты. Проводившиеся испытания неофитом воспринимались как поглощение чудовищем» [16. С. 7].

Устроители обрядов инициации большое значение придавали форме, окраске сооружения, стремясь при этом к тому, чтобы оно приближалось к очертаниям тотемного животного (в том числе и змеи). В этих сооружениях (иногда природных расщелинах) неофит принимал временную смерть [22. С. 61, 56]. Впоследствии как содержание обрядов, так и само сооружение становилось центром многочисленных легенд, рассказов, песен. В сильно трансформированной форме обрядовый материал находил свое воплощение в фольклоре всех народов.

Очевидно, этот этнографический субстрат дал ряд мотивов и гагаузскому фольклору. Но в исследуемых балладах он «сильно трансформирован, перекодирован» и до нас дошел в виде «песни на грани обрядовой» [21. С. 10].

Анализ сюжетов исследуемых баллад позволяет говорить об определенной связи их с этнографией инициации. Это, прежде всего, возраст юноши, который мучается в пасти желтой змеи. В балладах юноша всегда предстает «лет восемнадцати (шестнадцати)» и неженатым («деликанны»), совершеннолетним. Это показатели возрастной стратификации и общественного положения (статуса) юноши. Сопоставим их с данными, почерпнутыми из «Книги моего деда Коркуда» — эпоса предполагаемых древних предков гагаузов — огузов.

У древних огузов, согласно эпосу, существовали возрастные группы детей («ушагов») мужского пола, причем переход из одной возрастной группы в другую сопровождался обрядами. Так, «в эпосе, — пишет Э. С. Намазов, — отражена грань, отделяющая детство от юности, с обязательным красочным описанием инициации, сопровождаемой ритуальным кровопролитием, наречением имени, выделением имущества. Проведение инициации связывалось у огузов с достижением пятнадцатилетнего возраста и совершением им в этот момент какого-либо геройского поступка» [23. С. 19]. В огузском эпосе дано яркое описа-

ние поединка и геройского поступка сына Дерсе-хана, победившего свирепого и очень сильного быка. «У Баяндур-хана был бык, был тоже верблюд-самец; когда тот бык ударял рогами крепкий камень, камень рассыпался, как мука; один раз весной, один раз осенью верблюда заставляли бороться с быком; ... снова весной вывели быка из сарая; три человека с правой стороны, три человека с левой стороны держали быка на железной цепи; дойдя до середины ристалища, они отпустили его. Сынок Дерсе-хана с тремя мальчиками из орды играли на ристалище в кости; быка выпустили, мальчикам сказали: «Бегите!». Три мальчика убежали, сынок Дерсе-хана не убежал; он встал посередине ристалища и осмотрелся. Бык тоже направился на юношу, хотел уже убить его; юноша крепко ударил быка по лбу кулаком, бык стал отступать. Бык снова направился на юношу; юноша снова крепко ударил быка по лбу кулаком. На этот раз юноша оперся кулаком на лоб быка, потащил его к краю ристалища... наконец, бык не устоял на ногах, упал и свалился на голову; юноша схватился за нож, отрезал голову быка» [24. С. 16]. Победа юноши над свирепым быком вызвала восторженные крики одобрения. Пришли беки огузов, похвалили юношу и так сказали: «Пусть придет мой дед Коркуд, пусть даст этому юноше имя, пусть... выпросит у его отца бекство...» [24. С. 16]. Следы такой оригинальной инициации нами выявлены и в гагаузском фольклоре. В балладах и сказках гагаузов юноша (даже мальчик) также выходит на борьбу со свирепыми животными (медведем, дикими лошадьми, драконами).

Интересно, что у гагаузов до сих пор существуют возрастные группы (у мальчиков), причем переход из одной группы в другую сопровождается определенными ритуалами. Так, по наблюдениям этнографа С. С. Курогло, у современных гагаузов сохранился ряд обычаев и обрядов, посвященных достижению ребенком («ушаком») шестимесячного возраста [25. С. 32]. Эту дату отмечали в связи с культом домашнего очага и принятием ребенка под его защиту [25. С. 33]. Интересные обряды совершались в гагаузской семье, когда ребенку исполнился один год. В этот день принято было опрыскивать его лицо водой, потягивать за ухо. Другим важным циклом обрядов были «обряды, совершаемые в связи с успехами ребенка в речевой и физической деятельности» [25. С. 33], например, «первый шаг ребенка».

В гагаузской балладе мать прокляла своего сына, когда ему было «несколько» или «шесть месяцев».

В одном из вариантов баллады змея говорит об этом путникам:

— Геери олун, сокулмыын,  
Онун бундан ежеели.  
Ачан алты айлыкты,

— Назад отойдите (путники),  
Ему так судьбой предписано.  
Когда ему было шесть  
месяцев,

Анасы бетфа етти...

Мать его прокляла.

Но ведь в реальной действительности в это время как раз совершается очень важный обряд приобщения ребенка к культу домашнего очага, и, безусловно, на этом домашнем празднике в адрес ребенка и матери произносили самые лучшие пожелания. В балладе же именно по достижению ребенком шестимесячного возраста мать проклинает его и желает, чтобы его «змеи съели». Тут налицо трансформация смысла ритуала приобщения ребенка к культу очага. Но вполне возможно, что с этим культом каким-то образом была связана змея. Ведь согласно представлениям народов древнего Хорезма души предков могут вернуться в дом в виде кошки, собаки, а иногда — «белой змеи» [26. С. 114].

Причем змея табуирована, хотя по отношению ко всем другим пресмыкающимся существуют строгие указания на необходимость их уничтожения [26. С. 114].

В рассматриваемой балладе нашла свое отражение и традиционная возрастная стратификация. Самая ранняя возрастная грань — «ушак», т. е. младенец, нуждающийся в материнском молоке. Заметим, что мотив материнского молока, нашедший отражение в фольклоре многих народов мира, чрезвычайно характерен и для тюркского фольклорного менталитета с его культом матери. В высшей степени показательные примеры этого находим мы в огузском эпосе.

Так, юноша (сын Дерсе-хана), будучи на пороге смерти, поднимает голову от «звуков голоса матери» и произносит: «Приди сюда, моя государыня-матушка! ты, чье белое молоко я сосал» [24. С. 19]. И далее юноша говорит о том, что его посетил дух Хызр и поведал ему: «от этой раны тебе смерти нет», если «горный цветок, молоко матери тебе лекарством будет» [24. С. 19]. Материнскому молоку придается магическая способность возвращения к жизни, это сила, над которой подчас оказывается невластной и всепильная смерть. И тогда мать «...один раз сдавила свои груди — нет молока; в другой раз сдавила — нет молока; в третий раз она насильовала себя, (груди) наполнились кровью; она сдавила (груди) — и кровь смешалась с молоком. Молоко с горными цветками приложили к ране юноши, посадили юношу на коня, отправились с ним в его орду» [24. С. 19].

Этот фрагмент позволяет нам лучше понять характер проклятья сына за то, что он не просто сосал молоко, а «высасывал его вместе с кровью». Впрочем, связь огузского эпоса с представлениями гагаузов (в том числе бытовыми, сохранившимися в памяти народа, а отчасти и в реальной действительности) проявляется не только в этом. Нелишним будет упомянуть и о возрастной стратификации гагаузов, во многом напоминающей древнюю, огузскую.

Так, по достижении мальчиком 8—10 лет он уже не «ушак» (ребенок), а «чожук». В возрасте же 14—16 лет подросток переходит в разряд «деликанны», т. е. становится совершеннолетним. Ему уже доверяют некоторые хозяйственные работы: пахоту, сев, уход за животными, впервые позволяют резать мелкий скот, птицу. Ему также разрешается бывать на посиделках, принимать участие в молодежных играх и танцах, в старину — в конных состязаниях.

У девочек также различают некоторые возрастные грани. Так, сперва она «кыз», «кызчааз», «күчүк кыз», «кызчаз» (девочка, девушка, маленькая девочка). По достижении 14—17 лет она уже — «бүүк кыз» (девушка на выданье). В лирических песнях гагаузов именно в возрасте четырнадцати лет к девушке «үүшмүшләр дүнүр-жүләр» «ввалились сваты».

В сюжетах баллад девушку обвивает желтая змея также по достижении ею совершеннолетия — «лет шестнадцати». Переход от одной возрастной грани к другой у молодежи был связан с определенной обрядностью (некоторые сведения на этот счет можно почерпнуть в работе С. С. Курогло [25]).

Примечательно, что и у огузов упоминаются «ушаги» [23. С. 23]. Видимо, это не только малолетние дети, но еще и те, кто не прошел инициацию. Поэтому «оружие и право на участие в военных сражениях предоставлялось только после инициации в „игиты“» [23. С. 23]. Так, будущие воины проходили необходимую подготовку в качестве помощников и слуг, причем «особо важно то, что огузы достижение 15-лет-

него возраста связывали с вступлением в особый период жизни, потому что с этого возраста они получают право на посещение „диванов” — племенных советов» [23. С. 23]. У огузов упоминались и «эры» — взрослые женатые мужчины, основные производители материальных благ [23. С. 23]. Такая же особая роль главы семьи, хозяина дома принадлежит и женатому мужчине («йар»), иногда ассоциирующемуся с домом («ев»), у гагаузов.

В реальной действительности мать и ребенок у всех народов в разные времена были окружены вниманием и заботой. Как доказательство этому, у многих народов мира сохранился обряд принятия ребенка в семью. У гагаузов этот обряд называется «понуда» [25. С. 26], иногда — «большой хлеб», что указывает на его связь с продуцирующими обрядами, которые совершались совместно с обрядами инициации [27. С. 313]. Но фольклор, как уже говорилось, по-своему пересоздает, трансформирует реальный материал. «Сам по себе фольклор включает не собственно этнографические описания» [28. С. 78], — пишет Б. Н. Путилов; в лучшем случае он может «выхватить» сюжетобразующий мотив, который в процессе «движения народной мысли» [21. С. 11] в системе определенных стереотипов воспроизводится как песня, сказка и др. В данном случае мы имеем балладу с образом желтой змеи. Причем, как отмечает В. Я. Пропп, «миф, рассказ живут дольше, чем обряд, поэтому миф содержит черты более поздние, с некоторым искажением или видоизменением» [22. С. 208]. В целом вся эта система обрядов приема ребенка в семью, трансформированная мифотворческим воображением предков гагаузов, отразилась в сюжете баллады с образом желтой змеи, но отразилась, подчеркнем это, как бы неявно, заинтересованно, так что ее приходится реконструировать исходя из имеющихся данных.

Генетически к обрядности инициации восходит и образ своеобразного патрона инициации, роль которого в балладах выполняет дух неба — аллах [29]. В балладе желтая змея подчиняется не только воле женщины-матери. Она заглатывает юношу иногда и «по предписанию аллаха» — бога неба. В гагаузских сказках этот дух часто предстает в образе белобородого старика «дäдо». Именно благодаря его вмешательству у бездетных стариков появляется «оол» (сын), он же одаривает его бычком (Данажыком), который впоследствии вырастает в могучего Вола («Окүзä»). Аналогичного патрона инициации исследователи выявляют и в огузском эпосе, и в комплексе семейно-родственных обрядов народов Средней Азии. Но в этих обрядах значительная роль отодвинулась и женщине-матери. Так, многодетным и здоровым женщинам поручалось коллективное шитье одеял, подушек, одежды для мальчика (в связи с его обрезанием, являвшимся одним из обрядов инициации). Пожилым, многодетным и здоровым женщинам доверялась также выпечка хлеба [26. С. 97] и некоторые другие ритуалы, связанные с проведением суннат-тоя в честь инициации. При этом в представлении участников ритуалов такие женщины наделялись свойством магического воздействия как на иницируемого, так и на остальных участников суннат-тоя. Считалось, что их свойства сакральным путем передаются и бездетным женщинам, что особенно ценилось.

Каким же образом в сюжете баллады осуществляется сакральная власть женщины, сила ее воздействия как на змею, так и на «иницируемого» юношу? Для ответа на этот вопрос необходимо снова вернуться к образу желтой змеи, но уже в аспекте поверий тюркских и других народов Востока.

Согласно мифологическим и религиозным представлениям некоторых тюркских народов, в том числе и гагаузов, змея (змеи) — «йылан» — является вредоносным существом, поэтому ее следует убивать. Так, по хакасским поверьям, убив змею, необходимо ее прижать к земле, чтобы она не уползла [31. С. 105]. У гагаузов считалось, что убившему змею прощаются «сорок грехов» («кырк гүнйя»). Но у других народов мира, напротив, было распространено почитание змеи. Так, народы Индии, Сирии, Египта видели в ней священное животное. Например, у древних египтян змея была покровительницей Южного и Северного Египта. Древние мастера изображали ее в виде богини, олицетворяющей женское начало [32. С. 16]. Сакральный смысл объединения женского начала и образа змеи предстает здесь со всей отчетливостью. У многих народов мира змея наделялась и определенной цветовой характеристикой, что также имело магическое (сакральное) значение. Так, у народов тюркоязычной семьи Поволжья она была известна как животное белого цвета — «Ак Жилан» [33. С. 69]. Это ведет нас в глубь сложной проблемы архаической символики цвета и цветных знаков, служивших средством общения у первобытных охотников и собирателей [34. С. 110]. Этой же цели, вероятно, служили и цветные знаки тех охотников, которые впоследствии были тюркизированы гуннами в Центральной Азии. Практическое и магическое значение придавалось черному, белому, красному и желтому цветам [34. С. 110], призванным предохранять от опасности собирателя, охотника или приручителя диких животных. Проникновение производящей экономики в районы Центральной Азии, распространение ее в регионах Приаральского бассейна приводило к тому, что представления, связанные с символикой цвета, а также с ощущением магического смысла окраски животных, с которыми человек сталкивался в своей деятельности и которым он подчас себя уподоблял, возводились в ранг высших идеологических ценностей. Так, «в эпоху бронзы у срубно-андроновских племен (с раннего периода) до самого сакского периода включительно существовал обычай подсыпать в могилу охру или реальгар. Регалии власти, покрытые золотом, стали распространяться с этой эпохи. У скифо-сакских племен поклонялись золоту, высоко ценились красные одежды и головные уборы, расшитые золотыми украшениями»; встречаются они в основном в «царских курганах» [9. С. 128]. Благодаря производящей экономике, связанной с животноводством, а также мифотворчеству, обрядам и зарождающимся религиозным воззрениям красный цвет (олицетворение огня) стал излюбленным у кочевников Сибири и Казахстана [9. С. 128]. Может показаться, что мы несколько уклонились от темы исследования, однако на самом деле приблизились к ней, поскольку без анализа архаического комплекса представлений, связанных с цветовой символикой, будет затруднительно уяснить функцию образа желтой змеи в гагаузской балладе.

Если допустить (сперва гипотетически), что огузы были причастны к этногенезу современных гагаузов, то нам надо проследить историю раннего расселения огузских племен, а также остановиться на некоторых особенностях их идеологии. По данным советских историков, «этнические огузы в X в. были результатом скрещения туземных приаральских племен массагетско-аланского происхождения с внедряющимися с востока элементами тюркского происхождения. Если эфталиты — продукт скрещения массагетско-аланов с гуннами, то в лице сырдарьинских огузов мы можем видеть этническое переоформление тех же эфталитов, смешавшихся с собственно тюркскими элементами, внедряющимися сюда из Семиречья в VI—VIII вв.», — пишет С. П. Толстов [35. С. 246].

А «огузская культура X в. — прямое развитие эфталитской культуры V—VI вв.» [35. С. 245], в которой цветосимволизму отводилась значительная роль. Если учесть, что «огузы X—XI вв. отнюдь не представляют однородного этнографического массива» [35. С. 246], то мы можем предположить, что с их культурой проникло и почитание желтого цвета как сакрального цвета змеи — помощницы женщины в гагаузской балладе. В состав огузов того периода входили племена дюкер, языр, которые были осколками индосвропейского населения Приаралья — тохаров, ясов, баяут, баяндур, кан. Вместе с гуннами и тюрками в IV—VIII вв. они проникли на территорию Средней Азии [35. С. 246]. Не подлежит сомнению, что в этих условиях здесь «помимо прямого усвоения многих форм и явлений культуры» было и постоянное создание «параллельных (подобных, сходных) и типологически близких форм» [36. С. 26] мифологических рассказов о роли женщины и ее помощницы в жизни рода и племени — змеи. У огузских народов появляется и характерный синкретический образ — «женщина-змея».

В системе мифологических представлений у этих народов «цвет имел особую информативную ценность. Поэтому и в образах, и в ритуалах солнечного культа красный цвет и золотой блеск атрибутов не были просто абстрактными символами Солнца... они были действительно солнечным (огненным) цветом и блеском» [9. С. 143]. В сознании носителей этой культуры постепенно складывается семантический пучок «красный — тепло — огонь — солнце — жизнь — кровь» [9. С. 132], который в той или иной мере наложил отпечаток на всю духовную культуру региона. Так, например, в исторических памятниках огузских ябгу часто встречаются реликты почитания огня. Культ огня посвящались мифы, легенды и даже огромных размеров сооружения «атешкеде» — дома огня, в которых было сосредоточено отправление общественного культа неугасимого огня (земного воплощения солнца), а также происходили общественные собрания и ритуальные трапезы [35. С. 116]. Реликты огнепоклонства наблюдаются в верованиях и погребальных обрядах многих среднеазиатских тюркских народов. Сохранились они и в фольклоре гагаузов, в частности в балладах с образом желтой змеи. Желтый цвет змеи соотносится в балладе с золотом, причем связь эта представляется наполненной сакральной символикой. Приведем характерный пример. Девушка идет собирать листья винограда и находит «алтын» — золотую монету, которая чудесным образом превращается в желтую змею:

О да бир сары алтын булду

Она желтое золото (монету)  
нашла.

Осыды о диилди алтын,  
О бир сары йыланды.

То не золотая монета была,  
То змея желтая была.

Или:

Бир да йылан сарылмыш,  
Сарылмыш, колач олмуш.  
Гүн гиби йалабаармыш,  
Гүн гиби йалабаармыш,  
Атеш гиби йанаармыш.

Змея лежит,  
В клубок свернулась.  
Как солнце, блестит,  
Как солнце, блестит,  
Как огонь, горит.

Как видим, перед нами мифология, в которой существенно значимую роль играют семантические мотивы «золота», «металла», «солнечного света». Но это позволяет нам высказать предположение о происхождении образа желтой змеи в гагаузской балладе из мифологических

представлений древних тюрков, в которых «цвет и металл... играли важную роль в космографической классификации» [19. С. 141]. Именно у древних тюрков «красный и золотой» как элементы цветосимволической цепочки «красный... солнце... жизнь» считались солнечными [9. С. 132]. Поэтому мотив перевоплощения золотой монеты в свернувшуюся в клубок желтую змею фактически означает, что змея — солнечное существо. А это — статус образа. Вот почему змея «как солнце, блестит, как огонь, горит» и даже подчас способна «испепелять», что указывает на ее связь с огнем. Говоря о генезисе и статусе этого образа, следует иметь в виду, что «красный цвет и золото не только стали символами важнейших элементов космологии Солнца и огня», но дали множество эпитетов, «эмоциональных констант» фольклору разных народов, например, славянских: «красное солнце», «алая заря», «красное утро» [9. С. 132]. Широко представлены они и у гагаузов. Вот некоторые примеры: «гѳзъл» (красивый) «ал йанаклы» (алые щеки, девушка с алыми щеками), «алтын адам» (человек доброго нрава), «алтын ўрек» (мягко-сердечный человек). С этой точки зрения не только сюжет гагаузской баллады, но и ее мотивы, образы, семиотика являются элементами мировой культуры, и прежде всего культуры древнетюркской.

Анализ сюжетов с образом желтой змеи и балаура (дракона) показал ряд особенностей, которые в той или иной мере проливают свет на проблему времени возникновения сюжета этих произведений.

Так, общим мотивом в сюжете аналогичных баллад гагаузов, молдаван, румын оказался мотив «юноша (богатырь) в пасти змеи (балаура, дракона)».

Общим для фольклора гагаузов и соседних народов — молдаван и румын — оказался также мотив, который условно можно сформулировать так: «юноша (богатырь) попадает в пасть змеи (дракона) по воле рока или по велению матери». Сходны и формулы материнского проклятья. Так, в румынской балладе сказано:

Мать его мне завещала.  
 Качала она, повторяла.  
 Баюкала, унимала:  
 «Лежи, засыпай,  
 Глотай тебя змей» [37].

В гагаузской и румынской балладах можно отметить и совпадение некоторых временных характеристик (юноша попадает в пасть змеи по достижении им совершеннолетия, прокликает же его мать во младенчестве). Однако существует и важное различие. Основной сюжетобразующий мотив гагаузской баллады — материнское проклятие и поглощение юноши змеей. В румынской же балладе таким сюжетобразующим мотивом выступает змееборство — вооруженные путники оказывают помощь юноше.

По мнению В. Я. Проппа, «мотив змееборства возник из мотива поглощения и наслоиился на него» [22. С. 227]. Данные археологии, истории материальной культуры свидетельствуют о том, что вооружение связано прежде всего с возникновением классов и государства, с завоевательными войнами. В мифологии и фольклоре мотивы вооруженной борьбы с чудовищами являются, вероятно, своеобразным отражением реальных междуплеменных столкновений, а также, возможно, своего рода «сословных» трений внутри племени. Мотивы эти представляют собой явление более позднее, нежели мотивы поглощения, относящиеся к архаическому пласту мифологических воззрений.

Отметим некоторые другие черты, характерные для гагаузской баллады и определяющие ее, так сказать, идейную поэтику. Мать проклинает сына, как бы предопределяя его будущность, обрекая его на гибельную встречу со змеей. Святое святых — акт кормления ребенка — становится завязкой трагического сюжета баллады. Мать восклицает в гневе:

— Хей, оолжаазым, оолжаазым,	— Ах, сынок, сынок.
Сән беним канымы емерсин.	Ты мою кровь сосешь теперь,
Аареттә да, оолжаазым,	А на том свете, сынок,
Йыланнар сени бблә емсин.	Пусть змеи тебя сосут...

Эта формула проклятия необычна для гагаузского фольклора и, по всей видимости, отражает какие-то древние представления, ведет нас в архаические глубины мифологического мировосприятия. Формула эта встречается в фольклоре предков гагаузов, бытовала она и в устной поэзии народов, с которыми предки гагаузов контактировали. Так, например, у народов абхазо-абазинско-адыгского региона существовал эпос о Сосруко: герой его у кормилиц своих высасывал молоко с кровью. «Он поел даже уголи из костра...» [38. С. 134]. Мотив материнского молока как универсального целебного средства находит свое выражение в верованиях, связанных с хвалой («алгыш») и проклятием («гаргыш»), которые известны у азербайджанцев [39. С. 257]. В гагаузской балладе проклятие наделяется магической силой материнского слова [39. С. 258]. Однако существовало поверье (оно отражено в азербайджанском фольклоре), что «отцовское проклятие действеннее материнского, потому что материнское молоко будто бы ослабляет силу ее проклятия» [39. С. 260]. Но зато «мать могла проклясть неблагодарное дитя словами: „Сүдүм бурнундан гялсин“» [39. С. 260], и словам этим придавалась «чудная власть».

В гагаузской балладе союзником женщины, которая проклинает сына, является не только желтая змея, но и небесный дух — аллах, который в сказках гагаузов нередко предстает в образе седобородого старца. Он совершает чудо, и юноша оказывается в пасти змеи. В балладе этот акт совершается, таким образом, не только по материнской воле, но и благодаря магической силе аллаха. Именно к этой силе когда-то обратилась женщина-мать, произнеся заклинание:

Аллаа версин, — демиш, —	— Дай (бог) аллах, — она
Насыл о бени сүздү,	сказала, —
Йылан да сүзсүн.	Чтобы, как он меня высосал,
Канжаазыны емсин...	Так и его кровь змея бы
	высосала...

Вот почему путники не приходят юноше на помощь. Они полагают невозможным идти наперекор безмерно превосходящей их силе, в которой соединились материнское проклятье (в нем звучат магические мотивы материнского молока и материнской крови) и воля высшего существа — аллаха. Персонажи совершают лишь то, что предписано им мифологической системой ценностей, — не больше и не меньше.

Подведем некоторые итоги нашего исследования.

Прежде всего отметим, что гагаузские баллады с образом желтой змеи доносят до нас немало элементов архаической идеологии, причем здесь нашли свое отражение (или трансформацию) мотивы, характерные для мифологических представлений народов Китая, Юго-Восточной Азии, что позволяет высказать предположение о возможных кон-

тактах предков гагаузов с носителями этих, казалось бы, столь удаленных от них культурных традиций.

Вообще, анализ цикла гагаузских баллад выводит нас на простор многочисленных сюжетных и образных параллелей и схождений, имеющих поистине международный характер, так что говорить об этническом субстрате того или иного мотива оказывается подчас затруднительным. Перед нами открывается огромное пространство, пронизанное токами мифопоэтической образности, — от Дальнего Востока до Балто-Балкано-Малоазиатского региона, от древних восточных драконов до реконструируемого ныне древнеславянского мифа о бже Грозы и змее [14].

И все-таки некоторые культурные пласты в сюжете гагаузских баллад хотелось бы выделить особо. Это прежде всего элементы тюрко-иранской культуры. Их не так уж много, но они говорят о весьма глубоких и прочных связях в далеком прошлом предков гагаузов с тюрко- и ираноязычными народами. Так, выявлены элементы культуры тюрков огузской группы. О значимых связях предков гагаузов и огузских тюрков свидетельствуют такие моменты в балладах, как материнское проклятье, некоторые совпадения относительно этнического стереотипа поведения, намеки на обряд инициации, возраст юноши, который мучается в пасти змеи, и др. В гагаузских балладах встречаются и элементы мусульманской идеологии — «аллах», «аарет» (ад). Каким образом в балладе (как сугубо «христианском» жанре словесного искусства) христиан-гагаузов произошло отождествление небесного духа и аллаха — еще предстоит разобраться, но, во всяком случае, идентификация эта вряд ли может быть сочтена случайной. Немаловажным представляется и алано-сакское влияние, прослеживающееся, в частности, в созвучии некоторых мотивов гагаузских баллад с идейными и образными ходами эпоса о Сосуко.

Анализ баллад с образом желтой змеи показал, что усваивается всегда то, что сам этнос в «конкретной этнокультурной ситуации» считает особенно ценным и незаменимым [36. С. 24]. Но при этом «усвоение... осуществляется в тех случаях, когда та или иная среда исторически готова сама создать новые формы либо усвоить уже готовые, существующие, созданные в сходной ситуации другим этносом» [36. С. 24]. Самостоятельная выработка гагаузами жанра баллады убедительно подтверждает эту мысль видного советского фольклориста.

## П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда//Этнографическое обозрение. 1900. № 1; 1901. № 1, 2, 4; 1902. № 3, 4.

<sup>2</sup> Он же. Наречия бессарабских гагаузов//Образцы народной литературы тюркских племен, изданные акад. В. В. Радловым. Спб., 1904. Т. 10.

<sup>3</sup> Он же. Турецкие племена на Балканском полуострове//Изв. Рус. геогр. о-ва. Спб., 1904. Т. 11.

<sup>4</sup> Покровская Л. А. Народные песни гагаузов Молдавии и Украины. М., 1966.

<sup>5</sup> Она же. Песенное творчество гагаузов: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1953.

<sup>6</sup> Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.

<sup>7</sup> Мы полагаем, что у предков гагаузов, как и у других тюркских народов огузской группы, многие обряды сопровождались музыкальными наигрышами, песнями и танцами.

<sup>8</sup> Мифы народов мира: В 2-х т. М.: Сов. энцикл., 1980. Т. 1.

<sup>9</sup> Акишев А. К. Искусство и мифология саков. Алма-Ата, 1984.

<sup>10</sup> Каталог гор и морей: (Шань Хай Цзинь)/Предисл., пер. и коммент. Э. М. Яншиной. М.: Наука, 1977.

<sup>11</sup> Руденко С. И. Культура хуннов и ноннулинские курганы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.

- <sup>12</sup> Чеснов Я. В. Дракон: метафора внешнего мира//Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. М., 1986.
- <sup>13</sup> Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани (из оледенелых курганов горного Алтая). М.: Наука, 1968. (См. также другие работы этого автора).
- <sup>14</sup> Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.
- <sup>15</sup> Зеленин Д. К. Истолкование пережиточных религиозных обрядов//Сов. этнография. 1934. № 5.
- <sup>16</sup> Петрухин В. Я. Человек и животное в мифе//Мифы, культы, обряды народов зарубежной Азии. М., 1986.
- <sup>17</sup> Иорданский В. И. Человек через призму архаического сознания: от рождения к зрелости//Азия и Африка сегодня. 1980. № 8.
- <sup>18</sup> Токарев С. А. О жертвоприношениях//Природа. 1983. № 10.
- <sup>19</sup> Мифы народов мира: В 2-х т. М.: Сов. энцикл., 1982. Т. 2.
- <sup>20</sup> Кочаров Е. Г. Словесные элементы обряда: Публикация А. Н. Розова//Из истории русской советской фольклористики. М., 1981.
- <sup>21</sup> Путилов Б. Н. Проблемы типологии этнографических связей фольклора//Фольклор и этнография: (связи фольклора с древними представлениями и обрядами). М., 1977.
- <sup>22</sup> Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
- <sup>23</sup> Намазов Э. С. Половозрастная стратификация у огузов: По данным эпоса «Китаби Деде Коркуд»//Этническая культура: динамика основных элементов. М., 1984.
- <sup>24</sup> Книга моего деда Коркута: Огузский героический эпос/Пер. акад. В. В. Бартольда. Изд. подгот. В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.
- <sup>25</sup> Курогло С. С. Семейная обрядность гагаузов в XIX—нач. XX в. Кишинев, 1980.
- <sup>26</sup> Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969.
- <sup>27</sup> Кабо В. Р. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии. М., 1963.
- <sup>28</sup> Путилов Б. Н. Эпос и обряд//Фольклор и этнография: Обряд и обрядовый фольклор. Л., 1974.
- <sup>29</sup> Л. А. Покровская пишет, что «для выяснения исторического прошлого гагаузов очень важную роль и значение имеет изучение истории их религиозных верований» [30. С. 233]. «...Заметим, что „Бог“ в гагаузском языке обозначается арабским словом „аллах“» [30. С. 140].
- <sup>30</sup> Покровская Л. А. Мусульманские элементы в системе христианской религиозной терминологии гагаузов//Сов. этнография. 1974. № 1.
- <sup>31</sup> Алексеев Н. А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX—нач. XX в. Новосибирск, 1975.
- <sup>32</sup> Матье М. Э. Мифы древнего Египта. Л., 1940.
- <sup>33</sup> Вяткина К. В. Пережитки тотемизма и его разложение в связи с облавными охотами бурят//Сов. этнография. 1933. № 5—6.
- <sup>34</sup> Сипинский А. К. «Почева» и «вставка» в белорусской женской одежде//Сов. этнография. 1932. № 2.
- <sup>35</sup> Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
- <sup>36</sup> Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории. Л., 1986.
- <sup>37</sup> Гацак В. М. Восточно-романский героический эпос: Исследования и тексты. М., 1967.
- <sup>38</sup> Ардзинба В. Г. Нартский сюжет о рождении героя из камня//Древняя Анатолия. М.: Наука, 1985.
- <sup>39</sup> Абдуллаев Б. А. «Алгыш» (хвала) и «гаргыш» (проклятье) в азербайджанском фольклоре//Фольклор, литература и история Востока: (Материалы 3-й Всесоюз. туркол. конф.). Ташкент: Фан, 1984.

## ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

*Р. Г. КУЗЕЕВ, Ш. Ф. МУХАМЕДЬЯРОВ*

### ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ: ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ\*

Современный этап развития советской тюркологии характеризуется расширением и углублением круга рассматриваемых важнейших проблем и ростом общетеоретического уровня исследований. В обобщающих трудах по истории республик и областей с тюркоязычным населением важнейшее место отводится этногенезу, этнической истории, историко-культурным контактам тюркских народов. Однако все более становится ясным, что только дальнейшее развитие междисциплинарного подхода к этногенетическим проблемам в тесной связи с развертыванием работы по изучению группы исторически взаимосвязанных этносов, длительное время контактировавших на одной общей для них территории, позволяет с достаточной объективностью познать процессы формирования народов. Такой междисциплинарный подход к изучению этногенеза уже нашел определенное отражение в трудах ряда научных сессий, посвященных происхождению тюркских народов, а также в соответствующих монографических исследованиях [1—12].

Острый интерес к происхождению, истории и культуре своего народа — характерное явление современности, обусловленное беспрецедентным ростом национального самосознания у народов СССР. Все это потребовало разработки по инициативе Отделения истории АН СССР двух комплексных программ — «Этногенез и этнические процессы современности» (руководитель акад. Ю. В. Бромлей) и «Комплексной программы по истории культуры народов СССР» (руководитель акад. Б. А. Рыбаков) [13; 14]. «Методологии и методике изучения этнической истории» была посвящена Всесоюзная школа-семинар (Звенигород, ноябрь, 1987 г.). Созванная в ноябре 1988 г. Всесоюзная научная конференция обсудила проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана [15]. С участием советских ученых во главе с акад. Ю. В. Бромлеем в марте 1989 г. состоялась Международная конференция по проблемам национального самосознания в России (СССР) и Восточной Европе в новое и новейшее время, организованная Лондонским университетом. Наиболее интенсивная работа по проблемам этногенеза тюркских народов (как и других народов СССР) была проведена в послевоенные годы, когда Институт этнографии АН СССР возглавил работу по подготовке и изданию фундаментальной и многотомной серии «Народы мира», а обществоведы союзных и автономных республик выпустили свои обобщающие труды по истории республик.

\* Доклад прочитан на XV пленарном заседании Советского комитета тюркологов (Уфа, 1989 г.).

Опыт изучения этнической проблематики убеждает в том, что моноэтнический подход к познанию этногенеза не всегда результативен. Нередко он затрудняет сопоставление и анализ результатов изучения этногенетических процессов у соседних, даже этнически родственных народов из-за субъективного различия взглядов авторов на периодизацию этапов этнической истории, разной оценки влияния на процесс этногенеза экономических, политических и иных факторов. Нередко проявляются и тенденции к этноцентристской трактовке происхождения своего народа.

При тесной взаимосвязи истории народов плодотворным является изучение этнической истории с учетом одновременной консолидации ряда родственных и неродственных этносов, находившихся между собою длительное время в хозяйственных, культурных и иных контактах. Такой более высокий методический уровень подхода к исследованию проблемы способствует появлению трудов по этнической истории населения крупных историко-этнографических регионов [16—19 и др.]. Весьма интересным оказался опыт проведения ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР в конце 1987 г. обсуждения этнической истории тюркских и финно-угорских народов Волго-Уральской историко-этнографической области (сокращенно—ИЭО) [20]. В числе многих других на этом семинаре обсуждались дискуссионные вопросы этнического развития народов региона в периоды феодализма и капитализма в аспекте концепции стадийных (формационных) типов этноса. Была высказана конструктивная мысль о том, что уровень консолидации этноса с точки зрения достигнутой им стадии социально-экономического развития имеет лишь относительную корреляцию с уровнем культурных достижений народа. Несмотря на различия во взглядах, находит все более широкое понимание мысль о том, что нацию как историческую общность образуют не только этнические связи, пусть даже высокоразвитые, а связь социально-классовые, идеологические, экономические и иные, характерные для капитализма. С этой точки зрения именно формационный подход к типологии этносов служит наиболее объективным индикатором их движения по шкале истории. На своем историческом пути каждый конкретный этнос может переживать как восходящие, так и нисходящие стадии консолидации. Однако в эпохи поступательного развития этносы периодически переживают импульсы консолидации, прямо или опосредованно связанные с основными направлениями социально-экономического и политического развития.

В последнее время стали появляться обобщающие работы по истории и этногенезу древних и средневековых тюркских этнических образований Евразии, имеющие ценность для разработки этногенетической проблематики и Волго-Уральского региона [21—32]. Среди них труды по истории гуннов [33], хазаров [34; 35], огузов [36], кимаков и кыпчаков [37—39] и др. Эти труды, а также обширная новая литература, появившаяся по народам Среднего Поволжья и Южного Урала [40—52], позволяют перейти к новому этапу исследования, к созданию обобщающих работ.

Актуальность этногенетических исследований в последнее время заметно возросла. Однако, несмотря на то, что исследование исторических особенностей этнокультурного взаимодействия издавна расселенных в нашей стране народов, заметно отличавшихся друг от друга как своей численностью и уровнем социально-экономического развития, так и языком и культурой, а также антропологическим составом и некоторыми другими параметрами, во многом позволяет понять нынешнюю этниче-

скую ситуацию, в целом эти этнические и культурные процессы изучены слабо. Остается актуальной задача исследования межэтнических контактов в общем контексте истории всех народов в прошлом и настоящем. В частности, необходимо в первую очередь сориентироваться на преодоление ограниченных подходов к изучению истории тюркоязычных народов. Трудно согласиться со стремлением причислить античных скифов, сарматов, саков, массагетов, алан преимущественно к тюркоязычным по происхождению этносам [53—56], если при этом не обоснована обновленная теория генезиса и развития алтайской общности или ее тюркской ветви. Вызывают также сомнения тенденции удреветить этногенез ряда тюркских народов, представить анализ их этнической и этнополитической истории в отрыве от других народов и закономерностей развития крупных исторически сложившихся историко-культурных регионов. С обоснованной критикой таких построений недавно выступили А. П. Новосельцев, И. Алиев, Р. Г. Кузеев и др. [57—59]. Справедливой критике подверглась трактовка ряда вопросов, в том числе этнокультурных, касающихся истории народов Поволжья и Приуралья, на координационном совещании руководителей учреждений исторического профиля СССР, союзных и автономных республик [60]. В литературе в последние два десятилетия действительно разрабатывается концепция о неоднократной добулгарской массовой тюркизации Волго-Уральского региона, о тюркоязычности носителей многих культур Среднего Поволжья и Приуралья с I тыс. до н. э., о начале формирования чувашского этноса на основе тюркоязычных носителей Писеральско-Андреевских курганов II—III в. н. э., о решающей роли добулгарской тюркизации для сложения этнической основы всех тюркских народов региона. Все чаще постулируется идея об угро-тюркоязычности или тюркоязычности носителей полемской (III—IX вв.) и ломоватской культур (V—IX вв.) в бассейне Средней Камы [61. С. 4]. При условии накопления новых материалов и доказательств, естественно, вовсе не исключается определенное удреветие (измеряемое, возможно, несколькими столетиями) этногенеза любого народа; хорошо известны также из литературы процессы тюркизации ираноязычных племен и сложный этногенез известных тюркских образований эпохи средневековья на европеоидной основе (например, части печенегов).

Однако интерпретация археологических культур Восточной Европы II—I тыс. до н. э. как целиком или частично принадлежавших тюркоязычным племенам, а также идентификация их с древними тюрками на основе лишь этимологических экспертиз племенных названий античной эпохи не кажутся убедительными. Эти тенденции представляют собой, по существу, попытку пересмотреть центрально-азиатскую концепцию генезиса алтайской лингвистической общности без ее археологического обоснования в масштабе Евразии, опираясь лишь на «обновленное» толкование известных археологических источников, а также этнонимические данные в рамках отдельных регионов.

В настоящее время в результате существенного удреветия пребывания тюрков в Среднем Поволжье, Приуралье, Прикамье, Казахстане, Азербайджане, Северном Кавказе образовался разрыв между обновленной «тюркской» трактовкой археологического и этнонимического материала с широко известными построениями развития алтайской общности, которые пока невозможно, видимо, считать поколебленными. В этот разрыв и помещаются многочисленные идеи и гипотезы о ранней (со II—I тыс. до н. э.) тюркизации Среднего Поволжья, Прикамья и Приуралья, Закавказья, о тюркоязычности упоминаемых Геродотом ирков и аргипеев, о полной или частичной тюркоязычности скифов,

савроматов, сарматов, саков и даже племен ананьинской культуры и т. д. Крайним проявлением этих взглядов становятся все чаще постулируемые идеи о тюрко-шумерских, кыпчакско-шумерских, чувашско-шумерских, башкирско-шумерских этнических и языковых связях. В результате в трудах исследователей этногенеза тюркских народов Волго-Уральского региона вновь возрождаются концепции крайнего автохтонизма.

В связи с такой тенденцией возникает необходимость снова обратить внимание на соотнесенность датировки начала массового проникновения тюрков в Волго-Уральскую область с доказанным фактом миграции на Среднее Поволжье с Приазовья и Северного Кавказа древнебулгарских племен, фундаментальным значением волжско-булгарского этнополитического мира в исторических и культурных процессах в регионе [62; 63 и др.].

В связи с хронологией древнетюркских передвижений обращают внимание работы С. Г. Кляшторного по древнетюркской палеографии и археолога В. А. Иванова по статистическому анализу материалов древнетюркского погребального обряда VII—IX вв. из 163 захоронений Алтая, Тувы, Казахстана и Средней Азии. Устойчивые сочетания признаков древнетюркских погребений VII—IX вв. западнее границы, «очерченной погребением в Самарканде, курганами Жаксы-Арганаты, Егиз-Койтас, Бошекуль, Бобровка в Центральном и Восточном Казахстане», не встречаются [64. С. 148]. Не менее примечательно и то, что это согласуется с западными пределами, установленными по текстам рунических надписей С. Г. Кляшторным, у «прохода Бузгала в горах Байсун-тау, по дороге из Самарканда в Балх, в 90 км к югу от Шахрисябза» [66. С. 156].

Все это не позволяет пока включать Южный Урал и Приуралье, а также Среднее Поволжье в активную сферу древнетюркского этнокультурного воздействия. Следовательно, изучение хода и хронологических рамок процесса тюркизации в обширных ареалах Евразии все еще остается задачей для междисциплинарных исследований. Приведенными примерами мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что проблемы хронологии и распространения процессов тюркизации в Евразии, соотношения и взаимодействия тюркского и индоиранского миров, тем более гипотезы о тюркской атрибутике языка и мифологии шумеров или наличия тюркских параллелей в языках древних племен Мезоамерики, — все это необходимо изучать не в контексте истории и этнического развития исключительно или преимущественно одного народа, а в масштабах широких этнолингвистических групп и ареалов. Новые выводы должны, видимо, сопровождаться аргументированными ревизиями или уточнениями существующих концепций генезиса и исторического развития тюркских языков, а возможно, и алтайской системы в целом. При отсутствии таких подходов доказательность многих гипотез и хронологий тюркского этногенеза сильно снижается.

В последнее время начала складываться концепция, согласно которой Волжская Булгария и ее население явились этнической и этнокультурной основой формирования всех тюркских народов Среднего Поволжья и Приуралья, а также оказали воздействие на становление финно-угорских народов региона. Речь, конечно, не идет об упрощенной идее «равных прав» всех народов региона на булгарское этническое и культурное наследие. Исторический процесс был, естественно, гораздо более сложным. Но эта концепция выводит разработку проблем этногенеза и этнической истории из рамок отдельных народов в существен-

но более широкие пределы Волго-Уральской историко-этнографической области. Именно такая концепция представляется нам плодотворной и перспективной для разработки. Впрочем, гипотеза уже получила определенное отражение в новейших работах [67—70].

По нашему глубокому убеждению, это означает, что болгарский период, будучи во многом определяющим в этническом и этнокультурном аспектах, лишь подчеркивает необходимость накопления новых источников и дальнейшего исследования как добулгарского, так и послебулгарского периодов в истории Волго-Уральского региона.

Если иметь в виду добулгарский период, исследования специалистов целесообразно более нацеленно и предметно перенести в Прикаспийско-Северокавказский, Приаральско-Среднеазиатский и Южно- и Западно-Сибирский регионы, где могут быть обнаружены культурные следы волжско-булгарского многосоставного этнокультурного мира. В то же время еще не завершены исследования и в самом Волго-Уральском регионе, где, например, по-новому и интересно сейчас поставлена тема о буртасо-булгаро-мишарской линии развития [71]. Требуется также серьезного анализа роль булгарского этнического и культурного наследия в большом масштабе времени в этнокультурных процессах всех тюркских этносов Волго-Окско-Урало-Тобольского региона.

Но не менее сложно в плане этногенетической и культурологической проблематики и послебулгарское время. Предстоит новое осмысление золотоордынского времени, с которым не без основания ряд исследователей связывает консолидацию и деконсолидацию золотоордынской народности, — основу ее составляли кыпчакские и кыпчакизированные образования. Как известно, существуют различные взгляды на роль кыпчакского компонента в этногенезе и культурогенезе тюркских народов лесостепной полосы Евразии от Оки на западе до Тобола и Ишима на востоке. По нашему мнению, проблема должна быть изучена на междисциплинарном уровне, в диапазоне XI—XVI вв., с привлечением обогащенного в последние годы корпуса источников. Особого внимания требуют этноисторические процессы в регионе во второй половине XIV — первой половине XV в., когда почти опустели степной и часть лесостепного ареала региона в связи с вытеснением населения к северу. В этой же связи в пристальном изучении нуждаются политические и этнокультурные процессы, связанные с ролью во всем этом огромном регионе Казанского ханства, Ногайской Орды, Сибирского и Астраханского ханств, а также политические и этнические образования, с которыми народы региона вошли в контакт в более позднее время, — Казахские жузы и казахи, Калмыкская Орда и калмыки и др.

Чтобы проиллюстрировать значимость XIV—XVI вв. в этногенетическом и этнокультурном планах, приведем такой пример: в составе трех тюркских (башкиры, татары, чуваша) и трех финно-угорских (мордва, мари, удмурты) народов применительно к XVIII—XIX вв. выделено около 40 этнографических групп, из них 25 образовались в XV—XVII вв. или раньше существовали в других состояниях. Из 5 выделенных видов этнографических групп — этнотрадиционная, этносмешанная межэтническая, этносмешанная внутривнутриэтническая, этносословная, этноконфессиональная — последние 4 сформировались главным образом в XVI—XVIII вв. и явились следствием более ранних процессов.

Новые масштабные миграции и сдвиги населения начались с середины XVI в., когда весь регион не только постепенно стал интегрироваться в состав Российского государства в политическом и экономическом отношениях, но население региона было также вовлечено в постоянно расширяющиеся этнокультурные контакты с восточно-славянским

населением. Тема тюрко-восточно-славянских отношений в XVI — начале XX в. ждет обстоятельного исследования с учетом всесторонней роли в регионе Российской государственности, взаимодействия разнотипных политических и социально-классовых структур и отражения этих разнообразных контактов на состояние и эволюцию этнонесущего слоя культуры и языков, на этнический облик местных народов в целом.

Таким образом, встает огромная по масштабам задача — разработать этногенетический взгляд на историю региона, т. е. на историю группы взаимосвязанных этносов. Другими словами, от моноэтнического подхода нужно перейти к полиэтническому. В этом плане логика исследований подсказывает необходимость несколько сместить акценты исследования с этногенеза на культурогенез, на проблему взаимодействия и взаимообогащения культур взаимосвязанных народов в процессе их контактов в эпоху древности, в средневековье, в новое и новейшее время. Лишь тщательно углубившись в эту проблематику, в механизмы и закономерности культурных процессов, мы получим возможность на новом, неизмеримо более высоком уровне вновь обратиться к обобщающим этногенетическим построениям.

В этих целях актуальным является изучение факторов этнокультурного развития в многоэтнической среде, более конкретно — совокупности или сочетания факторов, обуславливающих процессы как межэтнической интеграции, так и этнической консолидации или воздействующих диалектически, противоречиво на эти процессы.

В аспекте интеграционных культурных процессов нуждаются в специальном изучении факторы природно-географические, политические (в частности полиэтнические государственные образования в регионе), конфессиональные (ислам, христианство и др.). Попутно подчеркнем особую важность изучения религиозного фактора — главным образом в связи с тем, что долгое время он изучался, по существу, вне этногенетических построений, процесс сочетания или синтеза этнического и конфессионального самосознания почти не учитывался. В плане консолидационных движений внимательного изучения заслуживают факторы общественного строя, точнее — традиционных социальных структур (общинных, волостных, сословных), образа жизни и быта, которые всегда имеют этническую окраску, фактор демографический, кстате, очень слабо изученный, собственно этнические факторы — этнонесущий слой материальной и духовной культуры, язык, самосознание, этническая психология. При всем этом важнейшим остается фактор воздействия той социальной силы, группы или класса, которые выступают лидером и выразителем этнической консолидации. Все это еще раз подтверждает принципиальную важность формационного подхода в крупном масштабе времени к этническим процессам и классового подхода к культурным явлениям. Соответственно чрезвычайно важно адекватно установить уровень развития капитализма в регионе у разных обществ, полноту и неполноту социально-классовой структуры, зрелость и этнокультурную активность различных социальных слоев, дать характеристику элитарной субкультуры и уровня, масштабов и глубины приобщенности народных масс к письменности, грамотности, литературе, искусству, профессиональным формам культуры. Отдавая должное отдельным выдающимся достижениям прошлого, не следует их выдавать за всеобщий эталон эпохи, за всенародный уровень культуры. Мы должны помнить и быть ответственными за то, что неадекватное отражение исторической действительности непременно оборачивается искаженным представлением о реальной действительности и может деформировать наш взгляд на будущее.

Этногенетический подход к истории может по-новому высветить эпихальную изменчивость этносов как этносоциальных организмов. История в таком случае предстает перед нами во всей сложности, в которой могут быть приливы и отливы консолидации и даже деконсолидации, как это случилось с волжско-булагарской и с золотоордынской народностями. А ныне существующие народы за 1000-летнюю историю пережили несколько периодов консолидационного развития, которые в литературе получили названия «ступеней», «всплесков», или «импульсов», консолидации. В этом смысле у народов Волго-Уральского региона помимо двух этногенетических фаз в развитии (на рубеже I и II тысячелетий и в XV—XVI вв.), когда они дважды пережили процессы этногенетического становления, было также немало консолидационных всплесков, которые сменялись покоем или даже спадом (например, в этнической жизни казанских татар и других народов непосредственно после падения Казанского ханства и Казанской войны, в этнической жизни башкир и других народов в пореформенный период в связи с кризисными явлениями в хозяйстве и экономической жизни). Диалектический подход к проблеме побуждает изучать и эти аспекты, так как консолидация одного народа может быть одновременно деконсолидацией другого.

В целом же нужно сказать следующее.

Исследования этнических проблем в СССР, на наш взгляд, прошли необходимый этап, когда в центре внимания ученых находились преимущественно отдельные этносы. К настоящему времени междисциплинарный подход и сравнительно-исторические исследования формирования этнокультурных свойств отдельных этносов методами археологии, этнографии, антропологии, языкознания и других наук привели к накоплению громадного потенциала знаний, обобщение которого позволит продвинуться дальше в разработке теории этноса и этнических процессов. В то же время преобладание в настоящее время моноэтнического подхода к проблеме имеет и негагивные следствия, которые выражаются в несопоставимости результатов исследования этногенеза, этнической истории и культуры соседствующих народов, в заметных различиях в установлении хронологии и в понимании исторических этапов этногенетических процессов, в этноцентристских взглядах на формирование некоторых этносов и их культур. Именно в этих отрицательных следствиях надо искать причины таких распространенных в научной и особенно в научно-популярной литературе явлений, как непомерное удравнение этногенеза многих, в частности тюркских, народов, этнизация археологических культур (нередко вплоть до палеолитических и мезолитических), соперничество за исключительное право на культурное наследие, различия в хронологии развития письменности и литературных языков в разных ареалах и у разных этносов и т. п.

Дальнейшее развитие комплексного метода должно быть связано с углублением исследований группы исторически взаимосвязанных этносов, длительное время контактировавших на одной, общей для этих этносов территории, соответствующих историко-этнографических областей (Волго-Уральской, Северокавказской, Средней Азии и Казахстана и др.). Указанный подход обуславливается не только логикой исследования и достигнутым уровнем наших знаний. Он становится актуальным на фоне событий самой жизни, реальных процессов сегодняшнего дня, настойчиво диктующих необходимость более глубоких знаний закономерностей и механизмов межэтнических, межнациональных, культурных связей и взаимодействий [72]. Немаловажно подчеркнуть, что сложное, но в целом поступательное развитие в советской этнографической науке

теории этноса, этнических и этнокультурных процессов (Ю. В. Бромлей, В. А. Тишков и др.) делают возможным и необходимым дальнейшее совершенствование методических приемов этногенетических, культурологических и иных исследований [73—77].

Ареальный аспект исследования этнических процессов позволит наметить и основные этапы как консолидационных, так и интеграционных процессов, которые, развиваясь в Среднем Поволжье и Южном Урале с глубокой древности, привели к сложению Волго-Уральской историко-этнографической области. В развитии интеграционных процессов существенную роль сыграла полиэтничность всех функционировавших здесь государств.

Региональный подход к исследованию этнических и культурных процессов более рельефно обнажает не только многокомпонентность этнического состава, процессы взаимной аккультурации и ассимиляции этносов региона, общность или близость значительного слоя их культуры — как фольклорной, так и профессиональной, но и с большой отчетливостью очерчивает территории, которые выступают зонами общего этногенеза и культурогенеза. Историко-культурные исследования в многонациональных регионах, ориентирующиеся исключительно или преимущественно на материалы и достижения только одного этноса, чреватые односторонними оценками, недостаточным или, напротив, гипертрофированным освещением культурного потенциала того или иного народа. Собственно этнические компоненты культуры во всех случаях имеют в регионе глубокие корни, однако как выражение этнического (народностного) самосознания соответствующих этносов формируются с разной интенсивностью у различных народов — начиная с этногенетических ступеней (или импульсов) консолидации (на рубеже I и II тыс. и в XV — середине XVI в.) — и достигают высокого уровня развития в XX в., когда все народы Волго-Уральской ИЭО обретают свою национальную, советскую государственность в виде автономных республик.

В целом в обозримом для источников периоде позднего средневековья и нового времени в Волго-Уральской ИЭО происходят крупные изменения этнической ситуации. Генеральная тенденция их сводилась к сложному и противоречивому взаимодействию процессов этнической консолидации и межэтнической интеграции. Можно заключить, что диалектика взаимодействия, противоборства этих двух тенденций и есть постоянное содержание (закономерность) этнокультурных процессов. Они были сравнительно слабо фиксируемыми на протяжении жизни одного поколения, однако явственно обнаруживались в диапазоне двух-трех столетий. Из этого наблюдения следует, что исходная этническая ситуация никогда не может быть точной или даже близкой копией результата, с которым исследователь сталкивается визуально. Поэтому, несмотря на идентичность этнонимов, этносы древности, средневековья и нового времени, даже при сохранении определенных эталонов преемственности, в целом представляют собой разные явления (даже, видимо, с различными моделями поведения и различными ценностными ориентациями). Вот почему разгорающиеся иногда дискуссии вокруг проблем этнического наследия, поиски прямых предков под тождественными современным этнонимами древности и т. п. представляются весьма сомнительными, они, как правило, не приводят к желаемым результатам.

Остановимся теперь вкратце на этнических проблемах современности.

В методологическом плане первостепенное значение сегодня имеет поиск новых подходов к анализу объективных условий, влияющих на

современные национальные процессы. Разработка новой, современной концепции социализма и ее реализация на практике выдвигают в число важнейших проблем углубленное изучение всей системы национальных факторов в интересах гармонизации межнациональных отношений в стране.

Особую остроту приобретает изучение экономических аспектов национальных процессов среди тюркоязычного населения страны. Безусловно, этнические (национальные) особенности имеют прямое отношение к народнохозяйственной специализации соответствующих республик и регионов. Вообще правомерна постановка вопроса о реальности этнической приверженности к определенным видам труда, видам деятельности.

За период 1959—1979 гг. доля тюркоязычного населения в целом по стране возросла с 11,1 до 15,2%. Еще более она возросла согласно данным последней переписи 1989 г. Как пишет Ю. В. Бромлей, «...столь сильное изменение национальной структуры... порождает некоторые социально-экономические проблемы», связанные с тем, что «многие тюркоязычные народы, а также таджики остаются преимущественно сельскими жителями: на 1979 г. горожан среди узбеков было менее 30%, среди киргизов—менее 20 и т. п.» [78. С. 32]. Все это определяет необходимость внесения существенных корректив в понимание и трактовку проблемы оптимального использования трудовых ресурсов в условиях интенсификации экономического и социального развития, проблемы реального уравнивания образа жизни в городе и на селе и, следовательно, формирования одинаковых условий образовательного и культурного развития так называемых «сельских» и «урбанизированных» наций. По-прежнему остаются сложными и неоднозначно решаемыми вопросы более активного приобщения тюркоязычных (а равно финно-угорских и других) этносов к индустриальному труду, к самым передовым современным производствам. С этими направлениями актуальных научных изысканий связана еще одна крайне дискуссионная тема. Речь идет о мобильности, подвижности этносов, о степени их участия в миграционных движениях как внутри, так и вне соответствующих республик. В целом достаточно эффективное использование быстро активизирующегося человеческого фактора представляется невозможным без серьезного учета национального фактора, без последовательного раскрытия соотношения традиционных и инновационных образцов трудовой деятельности — каждого народа с учетом национально-особенных черт его культуры [79]. Целесообразно, очевидно, обеспечить не только последовательное обогащение, но и обновление традиционных навыков в сфере труда, приобщение новых поколений к сложным профессиям в целях ускорения социально-экономического развития советского общества [80].

Закономерной, на наш взгляд, является сегодня постановка вопроса о национально-административном устройстве отдельных тюркоязычных (например, сибирских татар), финно-угорских, самодийских и иных национальных групп в местах их компактного проживания. Живя за пределами своих национально-государственных образований или вовсе не имея территориальной автономии, они могли бы в таком случае более активно участвовать в работе местных Советов народных депутатов и гарантировать своевременное удовлетворение нужд и культурных запросов своих групп в рамках сложившейся структуры союзного государства.

Значимость обращения к опыту 20-х годов, который был начисто

предан забвению в 30—40-х годах, несомненна. Развитие новой экономической политики в 20-х годах сопровождалось определенной демократизацией общественной жизни, в условиях которой осуществлением национальной политики на местах занимались национальные сельсоветы, районы и уезды, специально созданные в местах компактного расселения национальных групп (в том числе и тюркоязычных народов) в иноэтничном окружении. Изучение этого опыта, системы представительных учреждений, занимавшихся тогда межнациональными отношениями, в региональном аспекте, безусловно, ценно и необходимо.

Жизненно важной сейчас представляется организация отделов по межнациональным отношениям в составе исполнительных комитетов Советов народных депутатов различных уровней. Необходимо решить вопрос о персональном представительстве в Советах не только более или менее крупных национальных групп, но и вообще всех малочисленных народностей и этнических групп, не имеющих своих национально-государственных и территориальных образований. Эта идея требует обновленного подхода к структуре вновь избираемых будущих Советов народных депутатов союзных и автономных республик, а также местных Советов.

Исключительно своевременной и актуальной представляется созванная ИИЯЛ БНЦ в сентябре 1989 г. Всесоюзная научная конференция по проблеме «Этнографические и этнические группы в СССР и их роль в современных этнокультурных процессах» [81]. Конференция позволила по-новому и конструктивно обсудить современные проблемы этнического и культурного развития подразделений этносов разных типов, функционирующих в разных условиях. В свете перспектив формирования и функционирования новых ситуаций в развитии языков и этнических культур весьма актуальной для Волго-Уральского региона становится проблема «национальности (в т. ч. тюркоязычной) в городе».

Что такое национальные группы в городе? Нам представляется уместным подойти к городу и городскому населению как к своеобразной многоэтнической территории, как к зоне активного взаимодействия и взаимообогащения культур с высокоразвитым двуязычием, с активно протекающими процессами аккультурации, а возможно, и ассимиляции; так или иначе, мы мало знаем город в аспекте этнонациональных и даже этнодемографических проблем. Какие бы теоретические предпосылки к городской проблематике мы ни построили, ясно, что предстоит определить приоритеты исследований, первоочередные темы, разработать инструментарий, подготовить кадры. Если же говорить в этой связи о тюркских народах, то нам кажется, что Советский комитет тюркологов должен проявить интерес к организации этих исследований.

Следует обратить внимание и на тематику, оставшуюся совершенно не разработанной в советской исторической науке. Мы имеем в виду оценку отдельных этапов развития ряда тюркских народов за годы Советской власти, определение времени и периодизации формирования наций, критериев их консолидации. Региональный подход к изучению этнонациональных процессов с учетом всего исторического пути развития народов повышает объективность выводов при определении уровня и особенностей их консолидации. Эти исследования прежде всего необходимы для реального определения современного состояния и задач социального развития наций [82—84]. Однако этим исследованиям все еще мешают догматизация типологии этнических общностей, стремление непременно усмотреть за различными терминами-понятиями (нация, народность и др.), обозначающими то или иное социальное состояние эт-

носа, ранжирование этнических общностей на искусственно сконструированной шкале культурного прогресса. Немалую негативную роль в этом сыграли, с одной стороны, характерные в прошлом для нашей теории форсированные и недифференцированные оценки достигнутых рубежей социально-экономического развития страной в целом и разными народами в отдельности (в частности когда речь шла о сравнительно высоком уровне капиталистического развития до Октябрьской революции, об одновременном достижении всеми народами уровня «развитого» социализма и строительстве «коммунистического» общества), с другой — абсолютизация положения о ликвидации фактического неравенства и упрощение его до идеи полного уравнивания всех народов — подчас с упреждением исторически обусловленной специфики. Преодоление этих стереотипов потребует новых оценок и научных размышлений о путях как общественного, так и этнонационального развития.

Подводя итоги сказанному, мы хотели бы подчеркнуть следующее:

1. Исследование проблем этногенеза, этнической истории и истории культуры должно и впредь строиться как в Волго-Уральском регионе, так и в СССР в целом на междисциплинарном уровне, на основе синтеза достижений различных наук — истории, археологии, этнографии, антропологии, лингвистики, фольклористики, демографии, филологии, ономастики и других дисциплин, а также в контексте общей истории народов от древности до современности.

2. Необходимо совершенствовать методику этногенетических и культурологических исследований и изучать процессы этногенеза и этнической истории, учитывая цивилизационно-региональную их специфику, на фоне широких этногенетических и этнокультурных связей, охватывающих весь Волго-Уральский регион и соседние ареалы.

3. Целесообразно укреплять источниковую и источниковедческую базу исследований, вводя в оборот новые письменные источники, данные археологии, антропологии, этнографии, различных сфер культуры, систематически изучать традиционные социальные структуры, родоплеменную этнонимию, тамги, исторические предания и т. д.

4. Целесообразно стратегию этногенетических поисков направить на разработку проблемы взаимодействия и взаимообогащения культур, выявление механизма и закономерностей культурных контактов и процессов в многоэтнической среде.

5. Считать необходимым организовать подготовку и издание исследователями различных научных центров совместных региональных трудов, сборников статей и материалов с изложением альтернативных подходов к этногенетическим и этнокультурным процессам.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Происхождение казанских татар. Казань, 1948.

<sup>2</sup> О происхождении чувашского народа. Чебоксары, 1957.

<sup>3</sup> Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. Фрунзе, 1959. Т. 3.

<sup>4</sup> Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967.

<sup>5</sup> Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969.

<sup>6</sup> Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971.

<sup>7</sup> Археология и этнография Башкирии // Материалы научной сессии по этногенезу башкир. Уфа, 1971. Т. 4.

<sup>8</sup> Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971.

<sup>9</sup> Еремеев Д. Е. Этногенез турок. М., 1971.

<sup>10</sup> Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.

<sup>11</sup> Проблемы этногенеза туркменского народа. Ашхабад, 1977.

- 12 Гоголев А. И. Историческая этнография якутов: вопросы происхождения якутов. Якутск, 1985.
- 13 Вопросы истории. 1987. № 9.
- 14 История СССР. 1988. № 1, 2.
- 15 Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана: Тез. докл. Всесоюз. конф. (20—23 нояб. 1988 г.). М., 1988.
- 16 Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (XVI — нач. XX в.). М., 1976.
- 17 Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI — первой четверти XIX в. Томск, 1981.
- 18 Вопросы этнической истории Южного Урала. Уфа, 1982.
- 19 Материалы к этнической истории населения Средней Азии. Ташкент, 1985.
- 20 См.: Сов. этнография. 1989. № 3.
- 21 Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов: археологические памятники. М., 1966.
- 22 Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967.
- 23 Вайнштейн С. И. Происхождение и историческая этнография тувинского народа. М., 1969.
- 24 Народы и языки Сибири: ареальные исследования. М., 1978.
- 25 Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IV—X вв. Л., 1979.
- 26 Народы и языки Сибири. Новосибирск, 1980.
- 27 Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
- 28 Плетнева С. А. Кочевники средневековья. М., 1982.
- 29 Кшибеков Д. Кочевое общество: генезис, развитие, упадок. Алма-Ата, 1984.
- 30 Кызласов Л. Р. История Южной Сибири в средние века. М., 1984.
- 31 Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 1984.
- 32 Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985.
- 33 Джафаров Ю. Р. Гунны и Азербайджан. Баку, 1985.
- 34 Магомедов М. Г. Образование Хазарского каганата. М., 1983.
- 35 Плетнева С. А. Хазары. 2-е изд. М., 1986.
- 36 Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии: IX—XIII вв. Ашхабад, 1969.
- 37 Кумеков Б. Е. Государство кимаков IX—XI вв. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972.
- 38 Он же. Арабские и персидские источники по истории кыпчаков VIII—XIV вв.: Научно-аналитический обзор. Алма-Ата, 1987.
- 39 Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа: историко-этнографическое исследование на материалах кыпчакского компонента. Ташкент, 1974.
- 40 Мухамедьяров Ш. Ф. Основные этапы происхождения и этнической истории татарской народности. М., 1968.
- 41 Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: историко-этнографическое исследование. М., 1972.
- 42 Мухаметшин Ю. Г. Татары-кряшены. М., 1977.
- 43 Кузеев Р. Г. Историческая этнография башкирского народа. Уфа, 1978.
- 44 Халиков Р. Г. Происхождение татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1978.
- 45 Федотов М. Р. Чувашский язык в семье алтайских языков/Под ред. Н. А. Баскакова. Чебоксары, 1980. Ч. 1.
- 46 Он же. То же. Чебоксары, 1983. Ч. 2.
- 47 К вопросу этнической истории татарского народа. Казань, 1985.
- 48 К формированию языка татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1985.
- 49 Болгары и чуваша. Чебоксары, 1985.
- 50 Закиев М. З. Проблемы языка и происхождения волжских татар. Казань, 1986.
- 51 Антропология и популяционная генетика башкир/Отв. ред. Р. Г. Кузеев. Уфа, 1987.
- 52 Генинг В. Ф. Этническая история Западного Приуралья на рубеже нашей эры: пьянобарская эпоха III в. до н. э. — II в. н. э. М., 1988.
- 53 Айтмуратов Д. Тюркские этнонимы: каракалпак, черные клобуки, черкес, башкурт, кыргыз, уйгур, тюрк, печенег, сак, массагет, скиф. Нукус, 1986.
- 54 Закиев М. З. Проблемы языка и происхождения волжских татар. Казань, 1986.
- 55 Мизиев И. М. Шаги к этнической истории Центрального Кавказа. Нальчик, 1986; он же. История рядом: Беседы краеведа.
- 56 Каримуллин А. Татары: этнос и этноним. Казань, 1988.
- 57 Новосельцев А. П. Древнейшие государства на территории СССР: некоторые итоги и задачи изучения//История СССР. 1985. № 6.
- 58 Алиев И. Несколько слов о скифо-сакской проблеме//Изв. АН АзССР. Сер. истории, философии и права. 1986. № 1.

- 59 Кузеев Р. Г. Проблемы этнической истории народов Среднего Поволжья и Южного Урала с середины второй половины I тыс. н. э. до XVI в. Уфа, 1987.
- 60 См.: Вопросы истории. 1986. № 9, 12.
- 61 Халиков А. Х. Проблемы этногенеза пермских финнов//VI Междунар. конгр. финно-угроведения. Казань, 1985.
- 62 Мухамедьяров Ш. Ф. К проблеме периодизации урало-алтайских контактов: на материалах Волго-Уральского региона//Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности. М., 1986. Т. 1.
- 63 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1986. Т. 1.
- 64 Иванов В. А. О западных пределах расселения древних тюрков в связи с проблемой тюркизации Южного Урала//Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. Омск, 1984. (см. также [65]).
- 65 Иванов В. А., Кригер В. А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII—XIV вв.). М., 1988.
- 66 Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники. М., 1964.
- 67 Народы Поволжья и Приуралья. М., 1985.
- 68 Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984.
- 69 Город Болгар: очерки истории и культуры. М., 1987.
- 70 Город Болгар: очерки ремесленной деятельности. М., 1988.
- 71 Вопросы этнической истории Волго-Донья в эпоху средневековья и проблема буртасов: Тез. к межобластной научной конференции 23—27 января 1990 года. Пенза, 1990.
- 72 Что делать? В поисках идей совершенствования межнациональных отношений в СССР. М., 1989.
- 73 Бромлей Ю. В. Национальные процессы в СССР: В поисках новых подходов. М., 1988.
- 74 Он же. К разработке понятийно-терминологических аспектов национальной проблематики//Сов. этнография. 1989. № 6.
- 75 Тишков В. А. Народы и государство//Коммунист. 1989. № 1.
- 76 Он же. Да изменится молитва моя! ... О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений. М., 1989.
- 77 Он же. О новых подходах к теории и практике межнациональных отношений//Сов. этнография. 1989. № 5.
- 78 Бромлей Ю. В. Актуальные задачи разработки национальной проблематики//Совершенствование национальных отношений в свете решений XXVII съезда КПСС. М., 1988.
- 79 НТР и национальные процессы/Отв. ред. О. И. Шкаратан. М., 1988.
- 80 Бромлей Ю. В., Шкаратан О. И. Национальные трудовые традиции — важный фактор интенсификации производства//Социол. исслед. 1983. № 2.
- 81 Этнические и этнографические группы в СССР и их роль в современных этнокультурных процессах: Тез. докладов. Уфа, 1989.
- 82 Октябрьская революция и осуществление ленинской национальной политики в Поволжье и Приуралье: (К 70-летию образования Башкирской АССР)//Тез. докладов региональной научной конференции. Уфа, 1989.
- 83 Народы Урала и Поволжья и осуществление ленинской национальной политики: (К 70-летию образования Башкирской АССР)//Там же.
- 84 Общность судеб народов СССР: История и современность: Сб. науч. тр. М., 1989.

Ш. З. БАХТИЕВ

### БУРТАСЫ И ЧУВАШИ

Данное исследование посвящено вопросам формирования буртаского этноса, составившего в дальнейшем основу одного из тюркоязычных народов Восточной Европы — чувашей (название *буртас* содержит компонент *ас*, фонетический вариант которого *аш* входит в имя *чуваш*).

1.1. Согласно бытующей в исторической литературе концепции отождествления асов с аланами, упоминаемыми античными авторами в I в. н. э. [1. С. 83], оба эти народа являются ираноязычными. Подобное утверждение есть результат слишком прямолинейного толкования сообщений средневековых авторов об этих народах. Например, П. Карпини говорил об «аланах, или асах», Г. Рубрук отмечал, что «аланы именуются там аас», И. Барбаро знал о «народе аланском, именующем себя на своем языке ас» [2. С. 359]. Отдельные ученые, в том числе М. И. Артамонов, считали аланов и асов представителями двух разных племен [2. С. 359]. Название ас (с фонетическими вариантами аз, аш, яс, хас, хаз и т. п.), принадлежа в основном тюркоязычным племенам и народам, входит как компонент в такие сложные этнонимы, как карас, колтас (у ногайцев), тулас, хакас, буртас, эктоэтноним рохсас и др. Родоплеменные группы ас сохранились у казахов, башкир, узбеков. По сообщению Г. Рубрука, татаро-монголы называли половцев ак-ас 'белые асы' [3. С. 89]. По мнению акад. В. В. Бартольда, в средневековые названия аз и ас связывались с киргизами и хакасами [4. С. 485].

1.2. За обитание тюркских племен в некоторых регионах Восточной Европы еще до нашей эры и в первых веках нашей эры высказывались исследователи прошлого и настоящего — П. И. Шафарик, С. И. Руденко, З. И. Ямпольский, Р. Г. Кузеев [5. С. 389—396]. Об этом свидетельствует тюркоязычная этимология бывшего названия р. Урал — *Яик (Джаик)* 'широкая, разливающаяся', упоминаемого во II в. н. э. Птолемеем [6. С. 18]. (Эта река в половодье разливается в среднем течении более чем на 10 км, а в дельте — на несколько десятков километров [7. С. 60]).

Уже в первых веках нашей эры (согласно Аммиану Марцеллину—IV в.) аланы были этнически неоднородны. Будучи распространенным на подчиненные им народы, их имя стало собирательным [8. С. 44; 9. С. 339; 10. С. 11]. В эпоху широкой экспансии аланов многие тюркские кочевые племена были вовлечены в их сообщество и, вероятно, стали именоваться аланами-асами, что дало повод древним авторам и средневековым путешественникам к их отождествлению. Таким образом, асы могли называться и аланами, однако не все аланы являлись асами.

1.3. У Захария Ритора (VI в.) в числе народов, которые обитают

за Каспийскими воротами и «живут в палатках, существуют мясом скота и рыб...» [11. С. 165], наряду с аварами, бургарами, савирами и другими находим хасар, т. е. хазар. Здесь компоненты *хас-хаз* соответствуют арабо-персидскому варианту (возможно, и древнелезгинскому) 'ас-аз', как изображает это слово акад. В. В. Радлов [12. С. 538]; в арабском и персидском словарях начальный звук в слове *ас* обозначается буквой 'айн' [13. С. 665; 14. С. 339]. Этот звук представляет собой звонкую параллель глухого щелевого согласного *л* и произносится уже с участием голоса. У Г. Рубрука этноним дан в форме *Аас* [15. С. 106], где *Аа* отражает звук, обозначаемый буквой «айн». Второй компонент названия хазар — *-ар, -ār, -яр* входит в этнонимы болгар (болгар), мишар, маджар (мадьяр) и другие, и его обычно переводят как «мужчина, род, племя». По нашему мнению, хазар — это «касский род», «касское племя». Древние авторы сообщают, что язык болгар сходен с хазарским [16. С. 73]. В этом В. В. Бартольд видит родство болгар и хазар или их союзные отношения [17. С. 509]. Название *ас*, судя по некоторым источникам, относится и к части болгар. Так, в русских летописях говорится, что в 965 г. князь Святослав ходил на Козары, победил Ясов и Кософов [17. С. 516]. В сообщениях Ибн Хаукаля о данном событии кроме хазар упоминаются болгары и буртасы, т. е. название Ясы распространяется на болгар и буртасов. Согласно Тверской летописи, вторая жена князя Андрея Боголюбского, упоминаемая в связи с убийством князя в 1175 г., была Ясыня «бе бо болгарка родом», вывезенная им в походе на Каму в 1164 г. [18. С. 160]. Существует мнение, что она была северокавказской «аланкой», но родилась в Волжской Булгарии [19. С. 183]. Основанием для такого предположения якобы является бегство сына Ясыни Юрия (Георгия) к северокавказским ясам после гибели отца и казни матери за содействие княжескому ключнику Анбалу Ясыну в убийстве князя (имя Анбал считается осетинским [20. С. 135]). Однако в эпитафиях Волжской Булгарии имя Анбал имеется в следующем тексте: «Анбал огли Хасан зийарате турур...» 'Анбала, сына Хасана, место погребения...'. Встречается и форма Амбал [21. С. 5]. С учетом фонетической закономерности перехода *н > м* перед губно-губным смычным звуком *б* — обе формы тождественны [21. С. 7]. Георгий, несомненно, знал материнский болгарский язык, но, будучи христианином, не мог бегать в мусульманскую Булгарию и потому подался к северокавказским ясам (в то время христианам), чей язык был ему понятен.

Венгерский ученый Ерней сообщает, что «после победы русских, в 969 г., из Булгара переселились мусульмане, их называли ясами» [22. С. 105]. В 1237 г. вместе с половцами в Венгрии обосновался народ *Jaszok* (*Jasz + ok = яс + ы. — Б. Ш.*), который отдельные ученые отождествляют с ясами русских летописей [23. С. 51]. Между болгарскими и аланами восточных районов предкавказских степей еще в первых веках нашей эры установились культурно-языковые контакты [24. С. 588]. Об этом свидетельствует обнаружение акад. Ю. Неметом [25] ряда аланских слов в языке упомянутых ясов (венгры аланов не знают. — *Б. Ш.*), а также ираноязычное окончание порядковых числительных *-м* из «Именника болгарских князей» [26] в словах *алтом, тоутом* 'шестой, четвертый' и др. Древнерусский перевод «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия гласит: «Язык же ясеський ведомо есть от печенежска рода родися» [27. С. 454]. Бируни (X в.) пишет: «...род аланов и асов, и язык их смешанный из хорезмийского и печенежского» [28. С. 49]. Язык печенегов Махмуд Кашгари по некоторым признакам сближал с языком болгар и суваров [29. С. 71].

2.1. К асам ряд ученых относит буртасов, объясняя этот этноним, исходя из иранских языков (Г. Е. Афанасьев, И. Г. Добродомов, О. Прицак и др.). Однако Б. Н. Заходер, А. И. Попов, А. Х. Халиков и другие, основываясь на древних источниках, причисляют буртасов по языку к тюркам [30. С. 240; 31. С. 112; 32. С. 162]. В анонимном персоязычном источнике «Худуд ал-Алам» буртасы сопоставляются с тюркоязычными гузами [33. С. 162]. Весьма вероятно, что буртасы, будучи в основе своей тюрками-асами хазаро-болгарского происхождения, в результате тесных контактов вобрали в себя угро-финские и другие этнические элементы, в том числе центрально-азиатского происхождения. Это подтверждается антропологическими данными чувашей [34. С. 247—250], отождествление которых с буртасами, как увидим ниже, небезосновательно.

2.2. Относительно языка буртасов Балхи (X в.) писал: «Язык болгар сходен с хазарским. Буртасы же говорят на языке различном. Равным образом различается язык русов от языка хазар и буртасов» [16. С. 73]. Об «особом языке» у буртасов сообщают древние авторы [30. С. 239]. Подобные утверждения дали повод считать буртасов народом восточно-финского происхождения, предками мордовского народа [35. С. 40]. Сторонники мордовской гипотезы ошибочно считали язык буртасов нетюркским. Видимо, он так же резко отличался от других тюркских языков, как чувашский от современных тюркских. По мнению акад. Б. А. Серебrenникова, «чувашский язык настолько своеобразен и настолько отличается от всех остальных родственных тюркских языков, что невольно возникает вопрос, почему могло возникнуть такое его своеобразие, не связано ли оно с какой-то загадочной историей происхождения чувашского народа. Подобные вопросы возникают не только у лингвиста, они возникают и у этнографа, антрополога, археолога» [36. С. 29]. Резкое отличие чувашского языка от других тюркских языков отмечает и проф. Н. А. Баскаков [29. С. 84]. В настоящее время мордовская гипотеза о буртасах отвергнута [31. С. 121; 37. С. 20; 38. С. 180].

2.3. Историко-археологические и этноязыковые данные свидетельствуют о буртасо-чувашской преемственности при наличии в чувашском этносе болгаро-хазарского, финно-угорского и других компонентов, в частности центрально-азиатского. Вероятно, буртасы говорили на языке, близком к чувашскому и представлявшем собой одну из стадий развития последнего. Основанием для такого утверждения является обнаружение в чувашском языке сходства с языками огузской группы по лексическим, грамматическим и даже семантическим признакам [39. С. 7; 40 С. 35; 41. С. 40]. Приведем некоторые характерные примеры из этих языков: азерб. *иняк*—чуваш. *ёне* 'корова', азерб. *йолдам*—чуваш. *юлташ* 'товарищ', азерб. *бах*—чуваш. *пăх*—'смотреть', удвоенные согласных звуков: азерб. *сăккиз*, *доггуз* — чуваш. *саккăр*, *тăх-хăр* 'восемь, девять'. Примечательны семантические соответствия: азерб. *оху*—'учиться, читать, петь' — чуваш. *вула*—'читать, петь/выть'.

2.4. Еще в XIX в. проф. В. А. Сбоевым выдвигалась гипотеза о тождественности чувашей и буртасов [42], основанная на веских историко-этнографических и топонимических данных. Согласно сообщениям древних авторов, буртасы обитали на правом берегу Волги (между хазарами и булгарами). Подсчитав длину буртасской земли (по Якуту) в 750 верст, Сбоев пришел к выводу, что буртасы жили в Саратовской и Симбирской губерниях, занимаясь там земледелием и звероловством. Он пишет, что чувашни и сейчас населяют северную часть земли буртасской; монгольскими племенами они вытеснены только из южной ее ча-

сти [42. С. 183]. Хазарская крепость, гранича с буртасами, носила заимствованное у буртасов чувашское название *шора-кил* 'белый дом', которое греки, в чьем языке отсутствует буква «ш», превратили в Саркел, а русы с чувашского перевели буквально как Белая Вежа. В местах древнего обитания буртасы оставили свои названия местностей, сел и рек, которые находят объяснение в чувашском языке [42. С. 184—185]. Будучи покорена монголами в одно время с булгарами, вероятно, около 1236 г., часть буртасов мало-помалу была вытеснена на северо-запад, где заселила уезды Буинский, Курмышский, Чебоксарский и др. Другая часть обосновалась на левом берегу Волги — на северо-востоке, в уездах Самарском и других — вплоть до Оренбургского [42. С. 186]. Все, что говорили древние историки о занятиях и промыслах буртасов, относится и к чувашам. Более чем вероятно, пишет Сбоев, чувашаи торговали с араветянами и персами, которым продавали свои дорогие меха. Иначе как бы столь значительное количество арабских и персидских слов попало в язык народа, живущего в глуши и лишенного возможности иметь прежние торговые связи? [42. С. 187]. Гипотеза В. А. Сбоева была поддержана, в частности, крупным ученым и картографом А. Ф. Риттихом, который даже употреблял термин буртасо-чувашаи. Он утверждал, что поход князя Святослава на хазар в 965 г. особенно сказался на буртасах. Снявшись со своих мест, это племя поселилось в дремучих лесах и вскоре совершенно исчезло из виду, будто никогда и не существовало [43. С. 47, 63]. По словам А. Ф. Риттиха, «через 600 лет, в 1551 году, вдруг появляется без всякого исторического переселения новое племя среди татар и черемис, это чувашаи, и именно на тех же местах, где арабские историки указывали на местожительство буртасов» [43. С. 64]. Однако следует отметить, что буртасы упоминаются вместе с мордвой и черемисами как зависимые от киевских князей народы уже в начале XII в. Гипотеза В. А. Сбоева и его последователей не получила должного развития. Ее заслонила теория булгаро-чувашской преемственности, основанная на обнаруженных в волжских эпитафиях XIII—XIV вв. [44; 45] и «Именнике» [26] словах, которые сходны с чувашскими [46. С. 49—50].

2.5. На тождество буртасов и чувашей указывают также гебраизмы в чувашском языке и этнокультурные параллели, прослеживаемые у языческих чувашей и евреев. Гебраизмы, несомненно, проникли в язык предков чувашей — буртасов во времена Хазарского каганата (на рубеже VIII—IX вв.) в результате еврейского влияния [1. С. 65]. Хотя иуданзм был у хазар в основном религией правящей верхушки, тем не менее он оставил заметные следы в языке и обычаях буртасо-чувашей. Гебраизмы входят в состав не только культовых, но и бытовых, социальных и земледельческих терминов. Данная тема подробно освещена Я. Ф. Кузьминым-Юмананди [47].

2.6. Дискуссионным является и вопрос о локализации буртасов в историческом прошлом. Авторы IX—X вв. сообщают, что буртасы обитали на реках Итиль и Волга, соседствуя с хазарами. Заслуживает внимания в этом отношении дискуссия между Г. Е. Афанасьевым [48] и А. Х. Халиковым [32]. Первым из них в 1984 г. была выдвинута гипотеза о принадлежности буртасов к носителям лесостепного (аланского) варианта Салтово-Маяцкой археологической культуры—СМК. Носителем СМК, по мнению Афанасьева, кроме аланов и болгар, являлось еще какое-то население с обрядом трупосожжения. Это согласуется с сообщениями источников о том, что «одни из буртасов сжигают покойников, другие хоронят» и что «они сжигают покойников» [30. С. 246]. По Г. Е. Афанасьеву, буртасы — оседлые племена южной части лесо-

степной зоны — жили западнее р. Итиль на р. Буртас, которую он отождествляет с Доном, считая, что древние авторы принимали его за приток Волги и что путь «из страны буртасов в страну хазар по р. Итилю на судах» включал в себя переволоку судов на месте наибольшего сближения Дона и Волги. Этноним буртас объясняется им из осетинского как *фырт/бурт+ас* 'сын асский'. А. Х. Халиков, возражая Г. Е. Афанасьеву, указывает, что «письменные источники не дают основания отрывать буртасов от волжского бассейна» [32. С. 161], и в доказательство приводит мнение В. Ф. Минорского о том, что р. Буртас могло называться главное течение Волги от района Волгограда и ниже. Но нельзя отрывать буртасов и от Дона, где расположена хазарская крепость Саркел, название которой объясняется из чувашского языка.

2.7. Салтово-Маяцкая культура датируется серединой VIII—началом X в. [1. С. 64]. С. А. Плетнева считает трупосожжение нехарактерным для народов, создавших СМК. Встречается оно редко и, как правило, на периферийных землях этой культуры или вообще за ее пределами — в Приднепровье, Поволжье и т. п. [1. С. 72]. Следовательно, можно полагать, что трупосожжение практиковалось у более раннего населения, обитавшего в Волго-Донском междуречье и на территории будущего Саркела. Этим населением как раз и могли быть ранние буртасы. Буртасский этнос, на наш взгляд, возник в результате смешения разнородных племен. Это тем более вероятно, если иметь в виду смешанный характер чувашского языка [49. С. 17] и его исключительное своеобразие. В формировании буртасо-чувашского языка, вероятно, основную роль сыграл язык хазар и родственной им по языку части праболгар, именованной в многоплеменном болгаро-аланском сообществе асами. Их миграция из северо-западного Прикаспия и Предкавказских степей в Волго-Донской бассейн и вверх по Волге могла происходить с конца IV—V вв. под натиском гуннов, затем аваров в VI в. Именно эти периоды укладываются в рамки, обозначенные Б. Н. Захедером: «Сведения о буртасах, которыми располагала восточная письменность, датируются V—IX вв.» [30. С. 244]. Пришельцы, став асами, болгарам или хазарам, видимо, себя уже не называли. К приходу асов местное население состояло в основном из угро-финнов и других племен, а начиная с VI в. — и из племен с обрядом трупосожжения центрально-азиатского происхождения. Последние прежде входили в состав тюркского каганата. Тюрки-тугу, составлявшие ядро каганата, по китайским источникам, в VI—VII вв. сжигали покойников [1. С. 29—31]. Видимо, поэтому С. А. Плетнева считает обряд трупосожжения принадлежностью одного из тюркоязычных народов, входивших в Хазарский каганат [1. С. 72]. Таким народом, вероятно, являлись буртасы. Изложенная концепция на формирование буртасского этноса, возможно, нуждается в уточнении локализации и указанных датировок.

2.8. Буртасский этнос сформировался, не утратив тюркского языка асов. Обычно в борьбе между языками побеждает один из них, но и он не выходит из борьбы совершенно невредимым [36. С. 30]. Претерпел значительные изменения и язык буртасов. Чуваши, по выражению Н. И. Ашмарина, «утратили чистоту своего родного говора, приняв в свою среду чуждый элемент в лице финнов Поволжья» [50. С. VI]. Язык буртасо-чувашей, хотя и имел общие с болгарским ротацизм, ламбдаизм, протетический звук *в* в анлауте, а также уже упомянутый выше аффикс порядковых числительных *-м*, заимствованный болгарам у ираноязычных аланов, тем не менее резко отличался от него — оглушением звонких согласных, переходом *ā > a*, напр.: общетюрк. *ālak* —

чуваш. *ала* 'сито', новыми элементами в лексике и др. Все это изменило «внешний» облик языка и позволило древним авторам говорить об «особом языке» буртасов [30. С. 239]. Исследования последних лет проф. М. Р. Федотова [51] не оставляют сомнения в том, что многие особенности чувашского языка, которые казались иноязычными, на самом деле являются исконно тюркскими; вместе с тем среди них еще имеются такие, которые требуют дальнейшего изучения.

2.9. Значительность доли оседлых племен, составивших буртасский этнос, обусловила появление этнонима *пұртас* (чуваш. *пұрт*, мар. *пӱрт* 'дом, изба, жилище' + *ас*) 'оседло живущие асы'. Вероятно, это свидетельствует о глубинных угро-тюркских этноязыковых связях в регионе формирования этноса. Арабы, у которых отсутствует звук *п*, название это произносили как буртас, бртас, брдас и т. п. Появление в VIII в. в результате разорительных арабо-хазарских войн [1. С. 65] северокавказских аланов и болгар (создателей СМК) вызвало передвижение буртасов вверх по правому горному побережью Волги. Эти события способствовали появлению среди буртасских племен названий *суас* и *тулас*, этимология которых не вызывает сомнений. Так, *суас* состоит из тюркского *су* 'вода, река' + *ас* и переводится как «речные асы». Этот термин сохранился в марийском языке, из которого он как заимствование не объясняется. Слово *суас* в чувашском языке, видимо, пройдя стадии *шывас*—*шываш*—*чӱваш*, стало самоназванием; чуваш. *шыв* 'вода, река'. Этноним же *тулас* состоит из чуваш. *тулла* 'горный' + *ас* и означает «горные асы». В. А. Сбоев писал: «Черемисы называют чувашей курк-мари „горные люди“» [42. С. 78]; горные же марийцы называют чувашей *суасла-мари*, т. е. «суасские люди»; мари — «люди» [52. С. 161].

2.10. Ряд исследователей (Г. Е. Афанасьев, И. Г. Добродомов, Т. Левицки, О. Прицак и др.) этимологизируют этноним буртас на основе иранских языков. Привлекает внимание этимология О. Прицака и И. Г. Добродомова, опирающаяся на форму *фурдас* у ал-Бакри, которая состоит из *фурд* + *ас* 'речные асы' на базе осет. *фурд* 'большая река' + *ас* (рус. *яс*) [53. С. 26; 54. С. 49]. Форма этнонима буртас в других арабоязычных источниках — б-ртас, б-рдас и т. п. [30. С. 230], по мнению И. Г. Добродомова, есть результат замены отсутствующего в исконных тюркских словах звука *ф* звуком *б*. Однако более вероятно то, что ал-Бакри передал отсутствующий у арабов звук *п* через *ф*, как и некоторые другие арабские авторы в словах Пулат—Фулат, Европа—Аруфа [54 а. С. 140, 151]. Отсюда следует, что названия *фурдас* не было совсем, а был *пұртас/пӱртас*.

3.1. Обратимся к антропологическим данным буртасо-чувашей. Акад. В. П. Алексеев, основываясь на исследованиях отдельных ученых, утверждает, что «краниологически чувашаи похожи на своих финноязычных соседей, и, следовательно, их антропологический тип сформировался при интенсивном участии той комбинации признаков, которая характерна для финноязычных народов Поволжья и получила наименование субуральской» [34. С. 248]. Далее он пишет: «Весьма вероятно, что основная масса предков чувашей говорила на одном из древних восточно-финских языков. Тюркизация их происходила при участии болгарских, также кыпчакских или иных кочевнических племен центрально-азиатского происхождения. Участие последних в формировании особенностей современных чувашей отразилось заметно сильнее, чем болгарских» [34. С. 250]. Как видно, выводы В. П. Алексеева не позволяют считать чувашей прямыми физическими потомками болгар. По мнению Б. А. Серебренникова, чувашаи в одинаковой степени и

тюрки и угро-финны и имеют и тюркских и угро-финских предков [36. С. 29]. Итак, на основании изложенного можно утверждать, что чуваши — прямые потомки буртасов, среди предков которых были афские племена. Общие черты в чувашском и древнеболгарском языках, вероятно, восходят к добуртасской эпохе (до V в.), а не ко времени расселения основной массы болгарских племен по Дунаю (VII в.) и Волго-Камью (VIII—IX вв.).

3.2. Асы, поселившиеся на левобережье Волги в конце IV в. и позднее, оказались в несколько иной этноязыковой среде, чем их правобережные и волго-донские собратья. Левобережье Волги в течение многих веков пополнялось из Зауралья, Южной Сибири и Нижней Волги в числе других тюркоязычными племенами с *з-ш-языками* общетюркского типа. В упомянутых регионах *р-л-языков* уже не существовало [51. С. 48]. Процесс тюркизации Приуралья и Поволжья, по мнению ряда ученых, начался в III—IV вв. [55. С. 354] или в середине I тыс. н. э. [34. С. 21, 54]. Левобережные асы, тоже суасы, войдя в контакт, а частично и слившись с местными, в том числе, вероятно, и с ранее пришедшими сюда тюркоязычными племенами, стали терять специфические черты *р-л-языка*. Тем не менее часть их кое-где сохранила признаки своего языка, диалекты которого мы видим в болгарских эпитафиях второго стиля. Левобережные суасы окончательно слились с переселившимися на Среднюю Волгу и Каму в VIII—IX вв. болгарам, став одним из этнических компонентов складывающейся народности волжских, как принято называть, болгар. Левобережные луговые марийцы, знавшие суасов с IV—V вв., перенесли это имя по языковому признаку на болгар, а в дальнейшем и на их основных наследников — татар, которых они и сейчас называют суасами.

3.3. В письменных источниках чуваши упоминаются лишь с 1508 г. [56. С. 96]. Проф. В. Г. Егоров писал, что чуваши в течение ряда веков оставались в полном забвении и неизвестности; обошел их молчанием и готский историк VI в. Иордан, отметив в своем труде соседей чувашей — народности черемис и мордву; ничего не сообщает о чувашах и каган Иосиф (X в.), перечисляя в известном письме Хасдаю ибн Шафруте платившие ему дань народы Поволжья: буртасов, болгар, суваров, ариасов (эрзя), цармисов (черемисов) и др. [57. С. 4]. Отсутствие чувашей в этом перечне, несомненно, свидетельствует о том, что они проходили под другим названием. В действительности же предки чувашей упомянуты как Иорданом, так и каганом Иосифом. Иордан, обращаясь к событиям IV—V вв., в числе побежденных королем остготов Германарихом (покончил с собой в 375 г. — *Б. Ш.*) северных племен упоминает *Mergens* и *Mordens*, т. е. «меря» и «мордву» [58. С. 89, примеч. 367]. Меря (мари) — самоназвание марийских племен, формирование которых относится к рубежу нашей эры [59. С. 371]. Этот этноним в советское время был возвращен марийцам вместо прежнего русского — черемис. В перечне кагана Иосифа этнонимы даны согласно правилам еврейского письма — в основном согласными буквами, нередко без гласных (в соответствии со старой арабописьменной орфографией мусульманских народов России до начала XX в.) в виде Бур-т-с, Бул-г-р, С-вир [60. С. 98]. Поэтому допустимо написание слова ц-р-мис в форме ц-р-м(а)с. К тому же это название татарами произносилось как чир-мэш, где компонент *эш* являлся фонетическим вариантом *аш*, *ас*. Видимо, название черемис (чуваш. сáрмыс) отражает отношение к афским племенам. Марийцы его не признавали, веками сохраняя свое древнее

самоназвание *мари—мори* 'люди'. Мари могли называться сармысами, черемисами и т. п. из-за обилия в языке тюркизмов и близости их к чувашам. Основываясь на антропологическом материале, К. Ю. Марк утверждает, что «у марийцев большое сходство с чувашами» [61. С. 108]. На тесную связь в прошлом между чувашским и марийским языками указывают многие исследователи, в частности Б. А. Серебренников [36. С. 39—40]. Ряд из них отмечает сходство средневековых археологических памятников с территории Чувашии и марийских [62; 63]. Черемисы-мари, называя чувашей суасла-мари, дали тем самым повод древним писателям именовать их черемисами. Чуваши в составе Хазарского каганата, видимо, покрывались именем буртас, упоминаемым каганом Иосифом наряду с черемисами, что подтверждает различие этих народностей. Однако под летописной «черемисой», а также черемисой XVII в. подразумеваются не одни мари, но и чувашаи. Собираемое имя «горная черемиса» включает в себя чувашей и горных марийцев. Иностранцы путешественники марийцев и чувашей объединяли также под другим общим названием — «черемисские татары», как пишет Г. Н. Айплатов [64. С. 140]. Беря за основу описание А. Курбским похода на Казань, проф. В. Д. Дмитриев считает, что население северной половины Чувашии в XVI—XVII вв. в русских источниках нередко называется горными черемисами: «...черемиса горная, а по их Чуваша зовомая, язык особливый» [36. С. 107; 65. С. 12]. Как видим, отсутствие упоминания о чувашах в исторических источниках вплоть до XVI столетия объясняется многовековой традицией смешения названий их и черемисов.

3.4. В Хазарском каганате, часть населения которого составляли мусульмане, в связи с принятием правящей верхушкой на рубеже VIII—IX вв. иудаизма начались смуты, продолжавшиеся почти сто лет. По мнению С. А. Плетневой, именно в это время многие болгарские орды отошли в Волжскую Булгарию и к дунайскому Болгарскому государству [1. С. 65]. Буртасы же оставались на своих местах, испытав на себе определенное влияние иудаизма. Об этом свидетельствуют гебраизмы в чувашском языке. М. И. Артамонов отмечает, что гарнизон крепости Саркел состоял не из хазар или болгар, а из какого-то тюркского племени с немусульманской обрядностью погребения [2. С. 316—317]. Вполне вероятно, что это были буртасы. Миграция болгарских и других племен, судя по карте, составленной С. А. Плетневой [1. С. 153, рис. 39], происходила в несколько этапов.

4.1. С образованием на Средней Волге (рубеж IX—X вв.) Волжской Булгарии [66. С. 11] и возникновением торгово-ремесленных очагов, связывающих край с другими странами, сюда продолжали проникать печенежско-огузские, а позднее и кыпчакские группы с *з—ш*-языками. Государственность и торгово-экономические связи создали условия для культурного и этнического сближения всех частей населения [63. С. 50]. Через купцов и ремесленников, а также миссионеров из Средней Азии в край еще в IX в. стала проникать мусульманская религия [67. С. 138]. Миссия Ибн Фадлана на Волгу в 921—922 гг. официально закрепила исламизацию во главе с болгарским царем, что способствовало дальнейшему ее распространению. Исламизация не коснулась буртасо-чувашей; они в то время еще жили ниже по правобережью Волги, как писали древние авторы, между землями болгар и хазар, входили в состав Хазарии, платили в середине X в. дань кагану Иосифу [60. С. 98]. Ибн Фадлан, проехавший вдоль левобережья Волги, ничего не знал о буртасах [68]. Лишь поход князя Святослава на Хазарский

каганат в 965 г. дал толчок к миграции части его населения. Значительная масса буртасов-чувашей ушла вверх по Волге в направлении мест более позднего их расселения. Второе перемещение буртасо-чувашей, видимо, происходило во времена монгольского нашествия, как считает и В. А. Сбоев, с охватом и левобережья Волги. К приходу буртасо-чувашей на новые места еще при первом переселении волна исламизации среди болгарского населения уже спала и основная масса пришельцев осталась язычниками. Завоевание края монголо-татарами в I половине XIII в., общая участь всех народов, в том числе и буртасо-чувашей как народов покоренных, стимулировали сближение между ними, сопровождавшееся частичной исламизацией и ассимиляцией их булгарами.

4.2. Буртасо-чуваше, будучи на месте формирования своего этноса одним из древнейших этнических образований, не были автохтонами на территории основного заселения чувашей. Сюда они могли проникнуть не ранее последней трети X в., т. е. после падения Хазарского каганата. При более раннем переселении они, имея язык тюркского типа, как и булгары, вряд ли избежали бы исламизации. Напрашивается и другой вывод: сформировавшиеся в IV—VI вв. в отдельный сложносоставной этнос буртасо-чуваше не могут быть отнесены к прямым потомкам булгар и этнически близких им суваров, пришедших в Волго-Камье в VIII—IX вв. Как уже говорилось, булгары и буртасы имели общих предков ранее V в.

После разгрома Хазарии Волжская Булгария освободилась от хазарской зависимости. Булгары стали проникать на соседние территории, в частности в восточную и юго-восточную части современной Чувашии, что подтверждается археологическими данными [34. С. 193; 69. С. 86].

4.3. Некоторые исследователи, не принимая во внимание отмеченную еще в XIX в. рядом ученых прямую буртасо-чувашскую преемственность и игнорируя обитание буртасов, согласно древним авторам, между землями хазар и булгар, пытаются объявить чувашей прямыми потомками волжских булгар на основе лишь одних языковых данных [46. С. 49]. Н. И. Ашмарин, считая чувашский язык тождественным болгарскому, но не находя упоминания о чувашах в письменных источниках, решил, что чуваше — это потомки булгар, и даже предположил, что «древние волжские болгары были известны под этим именем только у других народов, сами же называли себя чувашами» [70. С. 61]. Проф. А. П. Смирнов в редакционной статье к книге А. П. Ковалевского «Чуваше и булгаре по данным Ахмеда Ибн Фадлана» писал: «Советские историки, археологи, этнографы и лингвисты, не отрицая сходства болгарского языка с чувашским, не могут, однако, всецело согласиться с выводами Н. И. Ашмарина о том, что чуваше являются прямыми потомками булгар, вопросы формирования чувашского народа до последнего времени остаются неясными, спорными, требующими дальнейших исследований» [68. С. 4]. Происхождение булгар по-прежнему остается неясным и требует дальнейшего изучения. По словам А. Н. Третьякова, «утверждение, что чуваше являются булгарами, было равносильно попытке построить уравнение из двух одинаково неизвестных величин. Надо полагать, что в сложном составе народов Поволжья сохраняются следы древних племен, их изучение может пролить яркий свет на вопросы этногенеза» [63. С. 48].

4.4. О так называемых сувазах. Термин суваз, или суаз, вошел в литературу в связи с попытками найти в исторических источниках название, созвучное этнонимам чуваш—сувар. Получился он в результате

прочтения А. П. Ковалевским арабской конечной буквы 'нун' как 'зайн' в этнониме суван, сван из «Записок» Ибн Фадлана [68], вероятно, из-за неточности переписчика рукописи. Суваны, по Ибн Фадлану, первоначально отказались принять ислам. Это обстоятельство, помимо созвучия слов суваз—суаз с сувар—чуваш, соответствует тому, что чувашаи — не мусульмане. К тому же идея о сувазах родилась из предположения, что предки чувашей во времена миссии Ибн Фадлана на Волгу в 922 г. жили в относительной близости от мест, где население во главе с царем болгар приняло ислам. Но, как уже говорилось, правобережные буртасо-чувашаи входили в состав Хазарского каганата. Произвольное прочтение буквы «нун», одинаковой со всеми другими «нунами», как «зайн» и превращение племенного названия суван—сван в сомнительное суваз—суаз в свое время справедливо критиковалось Г. В. Юсуповым и Р. Г. Фахрутдиновым [34. С. 196, 221].

5.1. После официального принятия ислама мусульманское духовенство, обучавшееся в основном в Средней Азии, говорило на тюркских *з—ш*-наречиях, которые через школы-медресе при мечетях распространялись на все слои разноплеменного населения. Язык болгар, *р—л*-признаков в котором становилось все меньше, постепенно превратился в язык межплеменного общения, а сами болгары стали новым количественно преобладающим населением, в отличие от ранних болгарских племен в узкоэтническом смысле [71. С. 77]. К тому же в результате появления в Волжской Булгарии во второй половине XI в. огузо-кыпчакских групп доминирующим стал близкий к общетюркскому *з—ш*-язык с диалектами различных племен — суваров, берсулы и других, которые обладали признаками территориальности. В последующем эти племена утратили этноязыковую принадлежность и стали именоваться просто болгарами, представляя собой весьма сложное образование. На общетюркский характер языка болгар и суваров XI в. указывают примеры из «Словаря тюркских наречий» М. Кашгари, составленного в 1073/1074 гг. [71. С. 80]. Однако О. Прицак утверждает, что М. Кашгари в Волжской Булгарии никогда не был и что в его примерах отсутствуют элементы, характерные для протоболгарского языка [72]. Выдающийся филолог, надо полагать, собирал материал для своего труда не только путем посещения мест обитания племен, наречия которых он фиксировал. Сведения о языке болгар и суваров М. Кашгари мог почерпнуть из рукописей и у болгарских купцов, совершавших дальние поездки по торговым делам.

5.2. Чем же объясняется одновременное существование в период с 1271 по 1356 г. [73. С. 120] памятников с *р—л*-язычными эпитафиями и *з—ш*-язычными, причем первые явно преобладали [44. С. 59]? Х. Фейзханов, прочитавший в 1863 г. *р—л*-язычные эпитафии по данным чувашского языка, традиционно назвал их болгарскими [74]. Найденный в 1866 г. «Именник» [26] с фрагментами сувар, сходных с чувашскими порядковыми числительными (названия животных в нем — общетюркские), и *р—л*-язычные эпитафии способствовали появлению теории болгаро-чувашской преемственности. Однако акад. В. В. Радлов считал, что *р—л*-язычные эпитафии могли быть написаны чувашами-мусульманами [75]. В 1920 г. эту же мысль повторил проф. Н. Ф. Катанов [76], а затем — языковед Г. Рахим [77]. Такого же мнения придерживается и Я. Ф. Кузьмин-Юмананди [78. С. 22], не учитывающий, однако, данных «Именника». С такой позицией ученого трудно согласиться, ибо связь между языком «Именника» и чувашским все же имеется, что подтверждает некоторые схождения языков болгар и буртасов,

5.3. Разнодиалектность эпитафий свидетельствует об их принадлежности к различным этническим группам, еще не перешедшим на язык общетюркского типа, в частности к исламизированным чувашам (судя по аффиксу мн. числа *сем* на памятнике 1308 г. с фундамента Успенского собора в Булгаре [79. С. 175]) и к другому *p-l*-язычному населению, жившему в крае, как считал и А. П. Ковалевский [68. С. 21], до прихода болгар на Волго-Камье в VIII—IX вв., в том числе к суасам и др. Период бытования *p-l*-язычных эпитафий (70—80 лет), видимо, являлся переходным, временем усиленного насаждения Золотой Ордой ислама и смешанных браков. Именно поэтому кое-где в одних и тех же текстах имеются и *p-* и *z-*язычные элементы: йоканье вместо болгарского джоканья, но с ротацизмом, джоканье с зетацизмом и т. д. Иногда на могиле отца находился *z-*язычный памятник, а на могиле сына — *p-*язычный [78. С. 25].

У многих возникает вопрос, почему *p-*язычных памятников в период их бытования было намного больше, чем *z-*язычных? Ведь этот факт и побудил считать их болгаро-суварскими. Ответ на этот вопрос дают сами надписи. По словам Я. Ф. Кузьмина-Юманэди, «на многих из них, содержащих явно чувашские слова, стоят совсем нечувашские имена погребенных, такие, как «Татар Бялтик хири Хаджима», «Терекмэн Мохаммад оулы...», «Махмуд ибн Исмагил аш-Шемахи», «Мухши Бадан аль-Булгари», «Ибрахим ас-Севари», «Ар-Ходжа» и т. п. Такие разноэтничные нисбы на памятниках свидетельствуют о том, что чувашы-мусульмане изготовляли надгробия не только для своих соплеменников, но и для остального населения края и занимались этим делом как ремеслом [78. С. 30], когда появилась мода на монументы. Простые и дешевые памятники, созданные по их образцу, находили широкий сбыт. Сказанное соответствует предприимчивости и трудолюбию чувашей, отмеченным еще В. А. Сбоевым. Отатаривание мастеров-чувашей происходило постепенно. В третьей четверти XIV в. в связи с социальными потрясениями изготовление памятников временно прекратилось, и только в 1382 г. они появляются вновь, но уже только *z-ш-*язычные, так как *p-l*-языки мусульманским населением были утрачены. Язык этих памятников понятен всем, кто знает татарский язык. Язык чувашей-язычников, в последующем (с XVII в.) христианизированных, развивался по своим законам.

Итак, данные историко-археологических, лингвистических и антропологических исследований последних десятилетий позволили нам в самых общих чертах охарактеризовать процесс формирования буртасо-чувашского этноса, этапы миграции и время обоснования на постоянном местожительстве чувашей. Результатом этого стали следующие выводы:

1) начавшееся не позднее III—IV вв. расселение на Средней Волге в числе других пришельцев с востока и тюркских племен, вероятно, способствовало формированию в IV—VI вв. в Волго-Донском междуречье сложносоставного этноса буртасо-чувашей. Этот этнос возник после смешения пришедших с юга тюркоязычных асов—хазар и части болгар, называвшихся так в аланском сообществе, с местным финно-угорским населением и племенами центрально-азиатского происхождения;

2) хотя у буртасо-чувашей до V в. и были общие с булгарами предки, однако к булгарам, переселившимся на Волго-Камье в VIII—IX вв., они отношения не имели, так как представляли собой обособленный этнос, жили южнее и область их обитания входила в состав Хазарского каганата;

3) с разгромом Хазарского каганата Святославом в 965 г. буртасочуваши мигрировали вверх по Волге — в направлении будущих мест своего обитания и частично в Волжскую Булгарию;

4) вторая волна переселения буртасочувавшей в первой половине XIII в. под натиском монголо-татар началась как на территории современной Чувашии, так и на левобережье Волги — на восток и северо-восток;

5) название чувашей в древних источниках покрывалось именем буртас и черемис (мари). С последними чуваша имели тесные исторические контакты, подтверждающиеся языковыми и антропологическими данными.

Некоторые вопросы, затронутые в данной статье, могут составить отдельные темы для последующих исследований. Надеемся, что наши положения в определенной мере явятся ориентирами в дальнейшем изучении истории Поволжья и Приуралья.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Степи Евразии в эпоху средневековья//Археология СССР. М.: Наука. 1981.
2. Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.
3. Мизиев И. М. Шаги к истокам этнической истории Центрального Кавказа. Нальчик, 1986.
4. Бартольд В. В. Сочинения. М., 1963. Т. 2, ч. 1.
5. Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.
6. Ахметьянов Р. Г., Бахтиев Ш. З. К этимологии гидронима Яик (Джайк)//Сов. тюркология, 1986. № 3.
7. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т. 27.
8. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949.
9. Аммиан Марцелин. Римская история//Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. СПб., 1906. Т. 2.
10. Кузнецов В. А. Аланские племена Северного Кавказа//Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1962. № 106.
11. Пигулевская Н. Сирийские источники по истории СССР. М.; Л., 1941.
12. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1893. Т. 1, ч. 1.
13. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь. М., 1957.
14. Миллер В. В. Персидско-русский словарь. М., 1960.
15. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957.
16. Хвольсон Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и русах Абу-Али Ахмеда бен Омар ибн Даста. СПб., 1869.
17. Бартольд В. В. Сочинения. М., 1968. Т. 5.
18. Пчелина Е. Г. Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1963. Вып. 114.
19. Виноградов В. Б., Голованова С. А. Страницы русско-кавказских отношений XII века//Вопр. истории. 1982. № 7.
20. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958. Т. 1.
21. Хакимзянов Ф. С. Эпиграфические памятники Волжской Булгарии и их язык. М.: Наука, 1987.
22. Шпилевский С. М. Древние города и другие болгаро-татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 1877.
23. Ванев З. Н. Средневековая Алания. Сталинири, 1959.
24. Мерперт Н. Я. Древнейшие болгарские племена в Причерноморье//Очерки истории СССР: III—IX вв. н. э. М., 1958.
25. Немет Ю. Список слов на языке ясов, венгерских аланов//Пер. с нем. и примеч. В. И. Абаева. Орджоникидзе, 1960.
26. Тихомиров М. Н. Именник болгарских князей//Вестн. древ. истории, 1946. № 3.
27. Мещерский Н. А. История иудейской войны в древнерусском переводе. М.; Л., 1958.

28. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.: Л., 1948.
29. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969.
30. Захедер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе: Горган и Поволжье в IX—X вв. М., 1962.
31. Попов А. И. Названия народов СССР. Л., 1973.
32. Халиков А. Х. К вопросу об этнической территории буртасов во второй половине VIII—нач. X в.: Письмо в редакцию//Сов. этнография. 1985. № 5.
33. Hudud al-'Alam 'The Regions of the World'. A Persian Geography 372 A. H. — 982 A. D./Transl. and explained by V. Minorsky. London, 1937.
34. Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья: Сб. ст. Казань: Изд-во Казан. фил. АН СССР, 1971.
35. Смирнов И. Н. Мордва: Историко-этнографический очерк. Казань, 1895.
36. О происхождении чувашского народа: Сб. ст. Чебоксары, 1957.
37. Мордва: Историко-этнографические очерки: Сб. ст. Саранск, 1981.
38. Васильев Б. А. Проблема буртасов и мордвы//Вопросы этнической истории мордовского народа. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
39. Гаджиева Н. З., Серебрянников Б. А. Ареальная лингвистика и восстановление некоторых черт исчезнувших языков//Сов. тюркология. 1977. № 3.
40. Серебрянников Б. А., Гаджиева Н. З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Баку, 1979.
41. Федотов М. Р. О некоторых огузских чертах чувашского языка//Сов. тюркология. 1977. № 1.
42. Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856.
43. Риттих А. Ф. Материалы для этнографии России: Казанская губерния, XIV. Казань, 1870. Ч. 1.
44. Юсупов Г. В. Введение в болгаро-татарскую эпиграфику. М.; Л., 1960.
45. Хакимянов Ф. С. Язык эпитафий волжских болгар. М., 1978.
46. Ашмарин Н. И. Болгары и чувашы. Казань, 1902.
47. Кузьмин-Юманди Я. Ф. Гебранзмы в чувашском языке//Сов. тюркология. 1987. № 2.
48. Афанасьев Г. Е. Этническая территория буртасов во второй половине VIII—нач. X в.//Сов. этнография. 1984. № 4.
49. Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.
50. Ашмарин Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса. Казань, 1903. Ч. 1.
51. Федотов М. Р. Чувашский язык в семье алтайских языков. Чебоксары, 1983.
52. Исаев М. И. О языках народов СССР. М., 1978.
53. Добродомов И. Г. Из алаалского пласта иранских заимствований чувашского языка//Сов. тюркология. 1980. № 2.
54. Он же. Булгарские и буртасские слова в мусульманских средневековых сведениях о Поволжье//Тез. XXIX сессии Постоянной международной алтаистической конференции в Ташкенте в 1986 г. М., 1986.
- 54а. Марджани Ш. Б. Мустафад аль-Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар: (источники по истории Казани и Булгара). Казань, 1989.
55. Генинг В. Ф. К вопросу продвижения сибирского населения в Западное Приуралье в I тыс. н. э.//Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1962.
56. Лылов А. И. Скифская история. М., 1787. Ч. 1.
57. Егоров В. Г. Современный чувашский литературный язык в сравнительно-историческом освещении. Чебоксары, 1871.
58. Иордан. О происхождении и деяниях гетов//Вступ. ст., пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. М., 1960.
59. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т. 15.
60. Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932.
61. Марк К. Ю. Современная антропология марийцев в связи с вопросом этногенеза//Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола, 1965.
62. Смирнов А. П. Археологические памятники Чувашии и проблема этногенеза чувашского народа: Тез. докл. Чебоксары, 1956.
63. Третьяков П. Н. Вопросы происхождения чувашского народа в свете археологических данных//Сов. этнография. 1950. № 3.
64. Айплатов Г. Н. Расселение марийцев во второй половине XVI—нач. XVIII вв.//Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола, 1965.
65. Курбский А. М. Царь Иоани IV Васильевич Грозный//Избр. соч. СПб., 1902.
66. Смирнов А. П. Волжские болгары. М., 1951.
67. Халикова Е. А. Мусульманские некрополи Волжской Булгарии: X—нач. XIII в. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1986.
68. Ковалевский А. П. Чувашы и болгары по данным Ахмеда Ибн Фадлана//Учен. зап. ЧувашНИИЯЛИ. Чебоксары, 1954. Вып. 9.
69. Фахрутдинов Р. Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. Казань, 1975.

70. Письмо Н. И. Ашмарина: Приложение № 2 в брошюре М. П. Петрова «О происхождении чувашей». Чебоксары, 1926.
71. *Хакимзянов Ф. С.* О языке межэтнического общения в Волжской Булгарии// К формированию языка татар Поволжья и Приуралья. Казань, 1985.
72. *Pritsak O.* Kašgaris Angaben über die Sprache der Bulgaren//Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig; Wiesbaden, 1959. Bd. 109, № 1.
73. *Мухаметшин Д. Г., Хакимзянов Ф. С.* Эпиграфические памятники города Булгара. Казань, 1987.
74. *Фейзханов Х.* Три надгробные болгарские надписи//Изв. импер. Археол. о-ва. Спб., 1863. Т. 4.
75. Труды IV Археологического съезда в России. Казань, 1877. Т. 1.
76. *Катанов Н. Ф.* Чувашские слова в болгарских и татарских памятниках. Казань, 1920.
77. *Газиз Г., Рахим Г.* История татарской литературы. Казань, 1923. Т. 1, ч. 3.
78. *Кузьмин-Юманди Я. Ф.* Об истоках «булгарской эпиграфики второго стиля»// Формирование и функционирование татарского языка. Казань, 1986.
79. *Hakimzjanov F. S.* New Volga Bulgarian Inscriptions//Acta Orient. Acad. Sci. Hung. Budapest, 1986. Tomus XL (1).

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. И. ТАТАРИНЦЕВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТНОНИМА *ТОПА* ~ *ТУБА* ~ *ТЫВА*  
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СХОДНЫХ С НИМ НАИМЕНОВАНИЙ

Данный этноним широко распространен на территории Южной Сибири и так или иначе входит в систему наименований практически всех основных тюркоязычных народов, населяющих этот регион. В настоящее время он является самоназванием тувинцев (*тыва* [дy'ва], реже *тува* [дy'ва]) и тофаларов (*то'па* ~ *то'фа* ~ *ты'па* ~ *ты'фа*), а в прошлом, как считается, был самоназванием части хакасов, в частности койбалов (*туба*, *тубинцы*) [1. С. 70]. Встречается он у северных алтайцев (*тубалар*, *туба*//*тува*//*тума*//*туфа-кижи*) и, по некоторым данным, у шорцев (*туба*) [2. С. 7, 8].

Рассматриваемое название можно считать достаточно древним: зафиксированное китайскими летописями эпохи Тан, оно традиционно читалось как *дубо* (dū-bō, tu-po). Носители этнонима *дубо* населяли Саяны, скорей всего, с середины I тыс. н. э. [3. С. 189].

Происхождение этнонима *топа* ~ *туба* ~ *тыва* ... издавна привлекало внимание исследователей. Доминировало представление, согласно которому все народы, носившие название типа *tuba* (с соответствующими вариантами), были самодийцами (самоедоязычными). Собственно говоря, уже само наличие подобного названия считалось одним из основных аргументов в пользу принадлежности в прошлом к самодийскому этносу (ср., например, следующее высказывание о тофаларах (карагасах): «... язык их одинаков с урянхайским (тувинским. — Б. Т.), зовут они себя также туба; вообще, стало быть, они отуреченные самоеды» [4. С. 346]).

Первым или одним из первых самодийскую версию происхождения этнонима и его носителей выдвинул М. А. Кастрен. Ее поддержали В. В. Радлов (который впоследствии, впрочем, от нее отошел, придя к выводу, что туба — одно из уйгурских племен [5. С. 23 — основной текст и примеч. 8]), П. А. Аристов, а затем — Г. Н. Прокофьев, А. Йоки, Л. П. Потапов, Н. А. Баскаков.

Следует, однако, заметить, что, хотя эта версия и принималась известными учеными, в целом она была и остается слабо аргументированной, поскольку основана на скудных и неясных данных и априорных доводах, в частности на том, что этническое название типа *tuba* встречалось у южных самодийцев. Некоторые из них употребляли и внешне сходное с *tuba* слово с семантикой «человек, мужчина».

Считалось также (а некоторые исследователи придерживаются подобной точки зрения и сейчас), что самодийцы в прошлом оказали значительное влияние на южно-сибирских тюрков в плане этногенеза, а потому всякий элемент общности, в том числе языковой, между этими тюрками и самодийцами односторонне истолковывался как проявление самодийского влияния.

Однако в настоящее время становится все более ясным, что степень подобного влияния сильно преувеличена применительно к конкретным тюркоязычным народам Южной Сибири (например, к тувинцам) и едва ли можно всерьез говорить о самодийском происхождении рассматриваемого этнонима.

Практически не подтверждается языковыми данными положение М. А. Кастрена, согласно которому *tuba* по своему «первоначальному значению» — это «общее название самоедов, в языке которых *tuba* или, чаще, *tebe* употребляется как нарицательное имя в значении и человека и самоеда» [6. С. 391] либо в уточненном виде — как общее наименование южных самодийцев, причем считается, что и древние тупо являлись южно-самодийской группой [7. С. 29].

Сторонники самодийской версии исходят из гомогенности вариантов с заднерядным (*tuba*) и переднерядным вокализмом (*tebe* и сходные с ним формы вроде селькуп. *tibe qur* 'мужчина'). Так, Г. Н. Прокофьев сопоставлял словосочетание *tibe qur* с *tuba* 'мужчина' «в отдельных диалектах исчезнувшего ныне самоедского языка Саянского нагорья»; от *tuba*, по его мнению, происходит «название современных тувинцев» [8. С. 122; ср.: 7. С. 29].

Но вполне возможно, что эти варианты гетерогенны и восходят к разным источникам. В частности, *tuba* мог иметь своим источником какой-нибудь из южно-сибирских тюркских языков (заимствования из них, особенно из хакасского, в языке южных (саянских) самодийцев, судя по исследованию А. Йоки, составляют заметную величину). При этом следует отметить, что *tuba* восходит, скорее всего, к одному из вторичных вариантов тюркского слова.

Что касается варианта *tebe*, то он, возможно, неслучайно обнаруживает сходство с эвенк. *тэбэ, тэвэ, тэгэ* 'народ; род, племя; иноплеменник, иноземец' [9. С. 226]: в самодийских языках немало параллелей с с эвенкийским (тунгусским); отмечаются и прямые заимствования из него, в селькупском в частности [10. С. 206—212].

Самодийскую версию с историко-этнографической точки зрения убедительно отвергает С. И. Вайнштейн, утверждающий в то же время, что ключ к этимологии этнонима следует искать не в самодийских, а в тюркских языках [11. С. 222]. По тому же поводу А. П. Дульзон высказался следующим образом: «Так как маторы — южно-самодийская народность — называли себя *туба*, то возникла мысль, что *туба* — самодийское слово. Следует отметить попытку объяснить слово *туба* из тюркских языков» [12. С. 201].

\* \* \*

Интересно, что и С. И. Вайнштейн, и А. П. Дульзон, говоря в той или иной форме о реальности тюркской версии происхождения этнонима типа *tuba*, имели в виду одну и ту же конкретную этимологию. Ее в конце 30-х годов предложил Г. В. Ксенофонтов, который, связывая *tuba* с тюрк. *tёбе, тебе, тубе*... 'макушка; голова, верхушка, темя', полагал, что древние тюрки именем *тубе* обозначали гористые и холмистые страны. Первоначальным значением словосочетания *тубе кижжи*, преобразовавшегося, по-видимому, в *туба кижжи*, было, по его мнению, «горный человек, горец, житель горной тайги». В аргументации Г. В. Ксенофонтова значительное место отводится двум названиям алтайских тубаларов — *йыш-кижи* и *туба-кижи*. *Туба кижжи* приводится и как самоназвание тувинцев (правильнее — *тыва* (или *тува*)-*кижи*); *йыш* имеет значение «тайга; черневые горы, покрытые лесом». Такая же семантика приписывается и слову *туба* [13. С. 62—63].

Рассмотренная этимологическая версия, обладая определенной логикой, вызывает вместе с тем и некоторые сомнения. Во-первых, она уязвима с фонетической стороны: тюркское слово *тубе*, с которым соотновляется этноним, будучи широко распространенным в современных тюркских языках, нигде не отмечено с заднерядным вокализмом (см.: [14. С. 197—198]).

Во-вторых, следуя логике рассуждений Г. В. Ксенофонтова, исходной формой этнонима следует считать словосочетание *туба киж*; варианты, состоящие из одного слова, должны быть вторичными (результатом эллипсиса?). Однако имеющимися материалами глубокая древность словосочетания не подтверждается. В данных условиях, напротив, подобные двухсловные наименования могли быть более поздними.

Необходимо, в частности, учитывать, что в некоторых тюркских языках (например, в тувинском) к названиям этносов прибавляется слово *киж* 'человек'. Это обусловлено существующим речевым этикетом и в определенных ситуациях выражает дополнительный оттенок уважительного отношения к тому, о ком говорят, хотя в целом различия между наименованиями типа *тыва киж* 'тувинец' и *тыва*—*тжс* трудноруловимы.

В-третьих, едва ли возможно доказать смысловое тождество, синонимичность слов *туба* и *йыш*, хотя, по мнению Г. В. Ксенофонтова, подобный вывод «напрашивается сам по себе» [13. С. 63]. К тому же давно известно, (и отмечено Ксенофонтовым), что название *туба*, в отличие от *йыш-киж* прежде не являлось самоназванием тубаларов. *Туба(лар)ами* называли соответствующую территориальную группу (и притом, по-видимому, достаточно поздно) ее соседи — южные алтайцы. Как самоназвание *туба* получило распространение уже в начале нашего столетия [12. С. 201—202; 15. С. 54].

В дополнении к сказанному следует заметить, что эта версия, как и та, что рассматривалась ранее, также не учитывает существования различных фонетических вариантов и без всяких на то оснований исходит из варианта *tuba*.

\* \* \*

В одной из последних работ В. М. Наделяева приводится, хотя и без детальной аргументации, древняя форма самоназвания тувинцев—*топа* [16. С. 6Q]. Полагаем, что здесь верно определена и исходная форма рассматриваемого нами этнонима.

В первоначальном его варианте мы действительно, скорее всего, имеем дело с широким огубленным гласным в первом слоге, качество которого сохранилось в тофаларском; в других же языках произошло сужение *o > y* (характерное, в частности, для кыпчакских и, вероятно, кыпчакизованных языков [17. С. 68]) с его последующей делабиализацией в тув. *ты'ва*, тофал. *ты'па*, *ты'фа*.

Наличие фарингализации в тувинском и тофаларском языках свидетельствует о том, что последующим интервокальным согласным был сильный придыхательный *п* (сильное его качество сохранилось в тофаларском). В основном этот согласный претерпел закономерные для современных языков изменения: *п > б* (*туба*), *п > ф* (*то'фа*, *туфа*), далее — *б > м* (*тума*), *б > в* (*тыва*, *тува*). Следовательно, первоначальный фонетический облик этнонима должен был быть представлен в виде *топа* [tor<sup>h</sup>a].

Такая реконструкция подтверждается и первоначальным представлением этнонима в китайском иероглифическом написании, читавшимся как *дубо*; ср.: в «Большом китайско-русском словаре» *dū'bō* 'дубо (тюркская народность; с эпохи Тан)' [18. С. 778; 19]. Однако по-

следнее — современное прочтение иероглифов, а их более старое звучание (V—XV вв.) было иным.

Попытку ревизовать чтение слова *дубо* (опираясь на реконструкции Б. Карлгрена) предпринял Э. В. Шавкунов [20. С. 56, 70]. По его мнению, соответствующие два иероглифа «звучали примерно как *to-rwâg*».

Таким образом, в предложенной интерпретации древний этноним практически отрывается от современных *топа ~ туба...*, что, на наш взгляд, не совсем правильно. Обратившись к современному фонетическому словарю китайских иероглифов, включающему в себя, в частности, и их среднекитайское чтение, мы обратили внимание на то, что первый из двух иероглифов действительно читается как *to* [21. С. 124 (№ 1939)], но второй произносится как *ruâ* [21. С. 95 (№ 1206)]; по этой причине этноним имел вид *to-ruâ* (без конечного *-r*).

Второй слог этнонима мог обозначаться и другим иероглифом [18. С. 779], который тем не менее также читался как *ruâ* [21. С. 95. (№ 1205)]. Следовательно, отмечающаяся многими исследователями связь этнонима эпохи Тан с современными тюркскими этническими названиями получает подтверждение, как и предлагаемая выше реконструкция их первоначального облика.

С этими названиями вполне обоснованно сближают и этноним *Tubas* (где *-s* — один из монгольских аффиксов множественного числа), упомянутый в «Сокровенном сказании монголов» (1240 г.) и обозначающий одного из так называемых «лесных народов» Саяно-Алтая, покоренных монголами в 1207 г. [22. С. 174]. Исходя из этого упоминания, по-видимому, можно говорить об эволюции внешнего облика этнонима, который в XIII в. употреблялся уже в варианте *tuba* (скорее всего, наряду с другими).

\* \* \*

Установленная исходная форма (*топа*) побуждает к сопоставлению, во-первых, с широко распространенным в тюркских языках однословным существительным типа *top*: тур. *top* 'кусок (материи), стопа, рулон; совокупность (чего-либо); все, всё', уйгур. *top* 'группа, толпа; куча, кучка; слой, прослойка', туркм. *top* 'группа; куча, толпа, стая', башк. *туп* 'стая (птиц)' и т. п. Обращает на себя внимание кирг. *тол*, у которого помимо значений «куча, груда, толпа, группа, стая, стадо, слой, прослойка» имеются еще такие специализированные, как «совокупность всех подчиненных манану (представителю верхушки феодально-родовой знати) родов», «самая мелкая родовая единица (мужское поколение одного предка в седьмом колене)» и «своя среда, родные и близкие».

Во-вторых, в древнетюркских памятниках отмечена глагольная основа *top-* 'складывать (слоями)' [23. С. 432], производными от которой, по-видимому, являются двусложные имена, в частности тур. *toprak* 'полный', *тору* 'все (вместе)', караим. *топу* 'полностью', *топы* 'все', туркм. *топар* 'куча, группа; стая, стадо; шайка, банда; группировка, слой, прослойка, сословие, род' [24], каракалп. *топар* 'толпа', кирг. *топор* 'голь перекатная, бедняк' (употребляется также как название рода [26. С. 130]), азерб. *топа* 'куча, ком(ок), ворох'. Можно предположить, что основа типа *топа* была распространена еще шире, о чем свидетельствуют явно связанные с ней производные вроде туркм. *топалаң* (<*топала-ң*) 'группа, группировка', кирг. *тополоң* — название повальной болезни овец.

Глагольная основа *top-*, упоминаемая выше, вероятно, связана с глаголом \**to-*, медиальной формой которого Э. В. Севортян считал общетюркский глагол *дол- ~ тол-* 'наполняться, становиться полным,

увеличиваться в объеме, вырастать, укомплектовываться' и т. д. [14. С. 257—258]. Она могла образоваться путем конверсии из существительного *top* (<\**to-p*) или быть формой интенсива от глагола \**to-* (аффикс *-p*, возможно, связан с учащательным аффиксом *-ба-~ма-~па-* [27. С. 229, 352, 396]).

В некоторых тюркских языках отмечено слово с переднерядным вокализмом типа *tür* и семантикой, подобной той, которая присуща слову *top* («куча, сорище, толпа, сплоченная масса»). Обращая внимание на этот факт, Э. В. Севортян высказал обоснованное предположение о частичном смещении или сращении существительных *top* 'совокупность чего-либо'... и *dür* ~ *tür* 'низ, основание, корень' и т. д., в том числе 'предок, предки' и 'род' [14. С. 317—318].

Интересно, что в некоторых тюркских языках имеются и переднерядные двусложные слова типа башк. *туба*, обозначающего род и родовое подразделение [28. С. 72], а у узбеков в позднее средневековье и в новое время существовал термин *тўна* 'родоплеменная группа, большая, чем род, но меньшая, чем племя' [29. С. 73]. Эти слова вероятно, могли быть результатом смещения или сращения *dür* ~ *tür* и *topa*.

Исходя из изложенного, можно считать, что некогда слово *topa*, к которому восходят современные варианты этнонима *топа* ~ *туба* ~ *тыва*..., обозначало группу, общность своих, родных и близких людей, причем довольно многочисленную (от рода и выше, вплоть до племени и, возможно, до большей их совокупности). Известно, в частности, что в эпоху Тан *Дубо* (Ториа) имело двойное употребление: 1) в качестве названия рода и 2) как наименование «особого племени» конфедерации телё, в состав которого входили кроме *Дубо* еще два рода: *Милигэ* и *Эджи* (см.: [30. С. 39—40]). По-видимому, комбинация этих наименований сохранилась до наших дней в виде названий трех групп так называемых «томских карагасов», в числе которых — *туба*, *мелесцы* и *эушта* (см.: [31. С. 4—6, 10]).

\* \* \*

У рассматриваемого этнонима кроме уже отмеченных модификаций явно фонетического характера исследователями фиксируются и другие варианты (разновидности), природа которых требует особого изучения. Они представляют дополнительный интерес и с точки зрения происхождения названия, восходящего к прототипу *topa*. К числу таких разновидностей относятся, с одной стороны, *ту'га* ~ *ту'ха* ~ *туха* ~ *тоха*, а с другой — *тумат*. Первая из них имеет ограниченное распространение и зафиксирована, в частности, в северо-восточной Туве, или Тодже (в формах *Туһа* [32. С. 425], *ту'га* ~ *ту'ха* [33. С. 16]), в юго-восточной (район оз. Тере-Холь) (*туха*) [34. С. 189] и в Монголии — бассейн р. Шишхид и район оз. Хубсугул (Косогол) (*туха*) [35. С. 12—13; 15. С. 180]. В Западной Монголии этноним отмечен и в варианте *тоха* [16. С. 60].

Наряду с *Tubas* в числе названий «лесных народов» в «Сокровенном сказании» упоминается и *Tuqas* (*Тухас*) [22. С. 175, 293], т. е. *Tuqa* в форме множественного числа на *-s* [36]. Эти названия фигурируют в двух разных списках этнонимов, и, возможно, речь идет не об одном, а о двух этносах. Вместе с тем упоминание прямого соответствия этнонима в XIII в. свидетельствует о его древности. В настоящее время это явно реликтовый этноним, известный немногим и считающийся фонетическим вариантом этнонима типа *tuba*.

Высказывается, в частности, мнение о том, что для тюркских языков характерно чередование согласных *м*, *б* и *х* в позиции между гласными [37. С. 179], хотя это не вполне соответствует действительности. Едва ли реально говорить о чередовании *б* (или *м*) ~ *х*, особенно если

учесть, что *б* (в *туба*) — не исконный, а восходящий к *п*. Согласный *х* в составе *туха* и *г* в тоджинском *ту'га* также вторичны и восходят к согласному *к* (сильному придыхательному). С учетом имеющихся данных и по аналогии с *тора* *туха* и *сму* подобные варианты с интервокальным заднеязычным согласным могут быть возведены к исходной форме \**тоқа*, однако *тора* и *тоқа* фонетически друг к другу несводимы. Вместе с тем они гомогенны, а их отличия могут иметь морфологическую (аффиксальную) природу: согласные *р* и *қ* восходят к разным формантам. Структура *тоқа* может быть представлена в виде *to-q-a*, где *to-* — глагольная основа, о которой уже было сказано выше, *-q-* — аффикс того же типа, что и *-p-* в *тора* (он, к примеру, «часто встречается... в интенсивном или активизирующем значении» [27. С. 293]), а *-а* — формант, образующий отглагольные имена.

Сопоставительный к слову *тоқа* материал в определенной мере аналогичен тому, который приводился в связи с этимологией этнонима *тора*, хотя имеющиеся данные здесь, к сожалению, более скромны. Широко распространенным именованным односложным образованием является, пожалуй, только прилагательное *doq ~ toq* (<\**to-*) 'полный, плотный, сытый' и т. д. [14. С. 252—253]; сюда же, возможно, следует отнести древнетюрк. *toq* 'кусок (ткани)' (ср.: чагат. *toqa* 'большой кусок материи, около 20 аршинов', *toqa* 'насыщенный, полный' [38. С. 1146], туркм. *toqya* 'кусок, ком', *toqar* 'больше, крупнее'), глагол *to-q-* 'наедаться, насыщаться' [14. С. 253] (а также 'наполняться?'). От глагола *to-q-* или, вероятно, *to-q-a* могли произойти тур. *tokaz ~ tokuz* 'густой, плотный; компактный', *tokucun* 'куча, скирда, копна'.

Образований типа *тоқа* и сходных с ним, семантика которых связывалась бы с какой-либо общностью людей, обнаружить не удалось, но в принципе слова с подобными значениями вполне реальные и с одним из них мог быть связан этноним типа *туха ~ тоха...* (<*тоқа*) [39].

\* \* \*

В отличие от предыдущего, этноним *тумат* достаточно широко распространен среди тюркоязычных народов: хакасов [1. С. 72], тувинцев, алтайцев, якутов, узбеков. Отмечен он и у монголов [30. С. 119]. Согласно распространенной точке зрения, этот этноним членится на основу *тума* и монгольский аффикс множественного числа *-т* (*-д*); основа же интерпретируется как фонетический вариант этнонима типа *туба* (со ссылкой на довольно частое чередование *б ~ м*).

Такая аргументация, вполне убедительная на первый взгляд, тем не менее вызывает возражения. Например, в отличие от аффикса множественности *-с* (*-s*) (о нем уже упоминалось), прибавляемого главным образом к монгольским словам с конечным гласным, формант *-т* (*-д*) присоединяется к основам имен, оканчивающимся на согласный (чаще всего *п*), и лишь в немногочисленных случаях — к основам с конечным гласным (см.: [40. С. 16]). Согласный *ауслуа* (в частности тот же *п*) замещается при этом аффиксом множественности. Основа этнонима *тумат*, вероятней всего, должна иметь форму *туман*, а не *тума*. В противном случае, по аналогии с уже отмеченными в тексте «Сокровенного сказания» этнонимами *Tubas* и *Tuqas*, было бы, скорее, \**Tumas*, тогда как в указанном сочинении употребляется этноним *Tumat* [22. С. 175, 293—294].

Другое возражение вызывает трактовка интервокального согласного (как *б > м*). Фактически речь должна идти о тройном переходе: *п* (*топа*) > *б* (*туба*) > *м* (*тума*), что более реально применительно к современному состоянию тюркских (и монгольских) языков (ср.: алт. *тума-мужи*), нежели, например, к их состоянию на первую половину

XIII в., когда эти согласные были устойчивее. Если порознь переходы типа  $n > б$  и  $б$  (исконный!)  $> м$  были реальностью и тогда, то вся линия переходов  $n > б > м$  применительно к средневековой представляется маловероятной, и потому фактическое соотношение друг с другом *тума* как предполагаемой основы этнонима *тумат* и *тума* в качестве одного из современных вариантов этнонима *топа*  $>$  *туба*... трудно признать правомерным. Интервокальный сонант *м* в этнониме *тумат* вполне может быть не вторичным, а первичным — исходным.

В то же время вполне возможно, что *тумат* и ранее рассмотренные этнонимы, не являясь фонетическими вариантами, все-таки гомогенны. Поскольку, однако, этимология названия *топа*  $>$  *туба* оставалась нераскрытой, сопоставление с ним другой величины неизвестного происхождения (*тумат*) не могло привести к правильному разрешению вопроса о реальных связях *топа*... и *тумат* друг с другом.

Одна из этимологических версий гласит: «...известные в монгольском произношении туматы, тубасы и тухасы письменных источников XIII—XIV вв. по-тюркски, вероятно, означали тогда (и ранее) только „житель горной тайги“» [41. С. 167]. Эта версия согласуется с той этимологией Г. В. Ксенофонтова, оценка которой уже давалась и по отношению к которой сам автор версии настроен довольно критично [41. С. 167]. Естественно, что согласиться с его предположением невозможно.

Г. Д. Санжеев, в одной из своих последних работ склоняющийся к тому, чтобы связать *тумат* со словом *түмен* 'туман, или 10 тысяч (о крупном военном соединении)' в форме множественного числа (*түмед*), пришел к следующему выводу: «Во всяком случае, не исключено, что *түмен* 'туман' и *түмед* 'тумат' изначально не были этнонимами, поскольку они, надо полагать, некогда применялись как термины военно-административного значения» [42. С. 64].

Подобные гипотезы высказывались и ранее; например, в одной из публикаций, предшествующих по времени работе Г. Д. Санжеева, связь этнонима *тумат* (*tumat*) со словом *түмен* (*tümän*) категорически (но в то же время без должной аргументации) отрицается [43. С. 233].

В принципе, думается, сопоставление этих слов не лишено оснований, хотя связь между ними, скорее всего, не носит прямого, непосредственного характера. Дело обстоит гораздо сложнее, поскольку среди этнонимов тюркоязычных народов встречаются наименования с заднерядным вокализмом, которые могут быть интерпретированы и как исходные формы единственного числа к форме множественности этнонима *тумат*. Так, М. И. Боргояков вполне обоснованно сопоставил *тумат* в этнонимии хакасов с названием рода *туман* у сарыг-югуров [44. С. 88], которое Э. Р. Тенишев сравнивает, в частности, с тем же *tümän* [45. С. 64].

Это сопоставление, особенно с учетом распространенности в сарыг-югурском переходе переднерядных слов в заднерядные (веляризации) [46. С. 23], вполне обоснованно. Однако, если принять во внимание наличие у *туман* заднерядных соответствий (в числе которых — *тумат*) в других тюркских языках, заднерядный вокализм сарыг-югур. *туман* вполне может оказаться исконным. (Этноним *тумат* в героических сказаниях якутов также был отмечен в варианте *туман* [13. С. 393]). Небезынтересно отметить, что С. Е. Малов кроме этого этнонима зафиксировал у сарыг-югуров («желтых уйгуров»), правда, под вопросом, еще и слово *томан* — «название уйгурского рода—кости—в горах» [47. С. 121, 124].

Можно предположить, что этнонимы *туман*, *томан* (?) и *тумат* в ко-

нечном счете связаны с той же глагольной основой \*to-, о которой говорилось применительно к этнонимам типа topa и toqa, а более непосредственно — с возможным производным от нее именем том (древнеуйгур.) 'много', tum (сарыг-югур.) 'связка, свиток' [38. С. 1234; 46. С. 214], возможно, уйгур. том 'плотный'; ср. также: tum 'собранный, объединенный' [14. С. 296]. Отмечены и переднерядные соответствия типа тур. tım 'круглый; полный; совсем', 'полностью, целиком; все, всё', tımel 'целый, полный, общий'; в чагатайском зафиксирован глагол tōp- 'набиваться, наполняться' [38. С. 1275]>? чагат. tōtāp 'куча, множество' [14. С. 296]. С основой том, тум связано и сарыг-югур. тумак 'тысяча' [47. С. 124], а к числу производных от нее глагольных форм принадлежит, вероятно, чагат. туман-~түмән- 'делаться богатым' [38. С. 1518, 1603].

К перечисленному кругу слов относится, очевидно, и уже упоминавшееся широко распространенное в тюркских, а также в монгольских языках слово түмен (изредка туман) 'десять тысяч', 'бесчисленное множество' (в турецком означает также «большая масса народа, толпа»). Его часто относят к иранизмам, что, с учетом приведенного материала, далеко не бесспорно.

Надо полагать, первоначально түмен характеризовалось заднерядным вокализмом (туман < томан), а переднерядные формы возникли в результате смещения или частичного слияния со словами иного происхождения, скорее всего, образными. Так, в турецком отмечен глагол tım- 'пухнуть, вздуться, принимать выпуклый вид', с которым соотносительны названия различных возвышений, очевидно, уже не только в нем [48. С. 224]. Вероятно, tım- сказался на внешнем облике (и семантике) именной основы tım, а в целом влияние ассоциаций с подобными словами могло иметь и более масштабный характер.

Возвращаясь к этнониму тумат, можно констатировать, что исходной его формой была tuman (< toman). Туман по происхождению являлось тюркским словом и обозначало значительную группу людей. Однако впоследствии (возможно, уже будучи этнонимом) оно подверглось монгольскому влиянию, результатом чего стала замена конечного и согласным т, возводимым к одному из показателей множественности в монгольских языках.

В целом же рассмотренные выше этнонимы, восходящие к исходным формам topa, toqa, toman, представляли собой группу гомогенных слов, имевших некогда близкую семантику и характеризовавшихся определенными структурными различиями, которые в настоящее время во многом напоминают различия собственно фонетические и нередко интерпретируются исследователями именно в этом плане.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Бутанаев В. Я. Происхождение хакасов по данным этнонимии//Историческая этнография: традиции и современность. Л., 1983. Вып. 2.

<sup>2</sup> Баскаков Н. А. Диалект черневых татар (туба-кижи): Тексты и переводы. М., 1965.

<sup>3</sup> Вайнштейн С. И. Этнический состав древнего населения Саян//Бронзовый и железный век Сибири. Новосибирск, 1974.

<sup>4</sup> Аристов П. А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности//Живая старина. Спб., 1896. Вып. 3 и 4. Год 6-й.

<sup>5</sup> Вайнштейн С. И., Кляшторный С. Г. В. В. Радлов, и историко-этнографическое изучение тюркских народов//Тюркологический сборник. 1971. М., 1972.

<sup>6</sup> Кастрен М. А. Путешествие по Лапландии, Северной России и Сибири в 1837—1844 и 1845—1849 гг.//Магазин земледелия и путешествий. М., 1860.

<sup>7</sup> Yoki A. Die Lehnwörter des Sajansamojedischen. Helsinki, 1952.

<sup>8</sup> Прокофьев Г. Н. Селькупский (остяко-самоедский) язык//Языки и письменность народов Севера. М.; Л., 1937. Ч. 1.

- <sup>9</sup> Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1977. Т. 2.
- <sup>10</sup> Хелимский Е. А. Самодийско-тунгусские лексические связи и их этноисторические импликация//Урало-алтаистика: Археология. Этнография. Язык. Новосибирск, 1985.
- <sup>11</sup> Вайнштейн С. И. Этноним *тува*//Этнонимы. М., 1970.
- <sup>12</sup> Дульзон А. Н. Этнолингвистическая дифференциация тюрков Сибири//Структура и история тюркских языков. М., 1971.
- <sup>13</sup> Ксенофонов Г. В. Ураангхай-сахалар. Иркутск, 1937.
- <sup>14</sup> Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д». М., 1980.
- <sup>15</sup> Потапов А. П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969.
- <sup>16</sup> Надеяев В. М. У истоков тувинского языка//Исследования по тувинской филологии. Кызыл, 1986.
- <sup>17</sup> Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Фонетика. М., 1984.
- <sup>18</sup> Большой китайско-русский словарь. М., 1983. Т. 2.
- <sup>19</sup> Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность за помощь в чтении китайских иероглифов научному сотруднику Тувинского НИИ языка, литературы и истории Л. Ю. Доржу.
- <sup>20</sup> Шавкунов Э. В. Опыт реконструкции древних этнонимов в иероглифической записи//Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР. Владивосток, 1976.
- <sup>21</sup> Фонетический словарь китайских иероглифов/Сост. С. Ф. Ким. М., 1983.
- <sup>22</sup> Козин С. А. Сокровенное сказание. М.; Л., 1941. Т. 1.
- <sup>23</sup> Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 1951.
- <sup>24</sup> По другим данным, словом *топар(лар)* могли обозначаться и более мелкие родственные группы, происходящие от одного, обычно еще живущего предка [25. С. 434—435].
- <sup>25</sup> Васильева Г. П. Итоги работы туркменского отряда Хорезмской экспедиции за 1948 г./Тр./Хорезм. археол.-этногр. экспедиция. М., 1952. Т. 1.
- <sup>26</sup> Абрамзон С. М. К семантике киргизских этнонимов//Сов. этнография. 1945. № 3.
- <sup>27</sup> Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962.
- <sup>28</sup> Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., 1974.
- <sup>29</sup> Кононов А. Н. Родословная туркмен: Сочинение Абу-л-Гази, хана хивинского. М.; Л., 1958.
- <sup>30</sup> Сердобов Н. А. История формирования тувинской нации. Кызыл, 1971.
- <sup>31</sup> Пелих Г. Н. Томские карагасы//Вопросы истории Сибири. Томск, 1972. Вып. 6.
- <sup>32</sup> Островских Н. Е. Краткий отчет о поездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли//Изв. импер. Рус. геогр. о-ва. Спб., 1898. Т. 34.
- <sup>33</sup> Чадамба Э. Б. Тоджинский диалект тувинского языка. Кызыл, 1974.
- <sup>34</sup> Сат Ш. Ч. Фонетические особенности терехольского говора тувинского языка//Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984.
- <sup>35</sup> Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Спб., 1883. Т. 4.
- <sup>36</sup> Ср. также один из казахских этнонимов — *тогас*, носители которого, по-видимому, исторически связаны с «лесными народами» [4. С. 354, 357].
- <sup>37</sup> История Тувы. М., 1964. Т. 1.
- <sup>38</sup> Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Спб., 1905. Т. 3.
- <sup>39</sup> Вероятно, к их числу может быть отнесено и якут. *доуог* 'друг, товарищ', 'разделяющий чье-либо одиночество'?
- <sup>40</sup> Санжеев Г. Д. Владимирцов — исследователь монгольских языков//Филология и история монгольских народов. М., 1958.
- <sup>41</sup> Кызласов Л. Р. История Тувы в средние века. М., 1969.
- <sup>42</sup> Санжеев Г. Д. Некоторые вопросы этнонимии и древней истории монгольских народов//Этнические и историко-культурные связи монгольских народов. Улан-Удэ, 1983.
- <sup>43</sup> Shastina N. P. Mongol and Turkic ethnonyms in the Secret History of Mongols//Researches in altaic languages/Ed. L. Ligeti. Budapest, 1975.
- <sup>44</sup> Боргояков М. И. Источники и история изучения хакасского языка. Абакан, 1981.
- <sup>45</sup> Тенишев Э. Р. Этнический и родоплеменной состав народности Юйгу//Сов. этнография. 1962. № 1.
- <sup>46</sup> Он же. Строй сарыг-югурского языка. М., 1976.
- <sup>47</sup> Малов С. Е. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957.
- <sup>48</sup> Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. М., 1966.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Г. МАМЕДОВА

### О СОЗДАНИИ БАНКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

В настоящее время в мире функционируют десятки банков терминологических данных, содержащих от нескольких тысяч до миллионов терминологических статей. Анализ литературы по наиболее известным из них (существующим и проектируемым) [1. С. 1—6; 2. С. 2—4] позволяет выделить следующую их функциональную типологию:

- справочно-информационное обслуживание специалистов различных областей знания, занимающихся составлением учебной и справочной литературы;
- облегчение традиционного перевода научно-технической литературы;
- обеспечение автоматизированных систем переработки текста, в первую очередь — машинного перевода;
- лингвистическое обеспечение автоматизированных систем информации;
- обеспечение терминологических работ, и прежде всего упорядочения и стандартизации терминологии, а также автоматизации подготовки и издания терминологических словарей, словников, указателей;
- терминологические и лингвистические исследования.

Каждый тип банка ориентирован на конкретную категорию пользователей и требует включения определенных элементов терминологических данных. Так, большинство запросов к справочной терминологической службе связано с уточнением границ терминов, их статуса и характера употребления. Переводчикам необходимо знать точные эквиваленты терминов и особенности их употребления. Для автоматической переработки текста требуется грамматическая информация о терминах; упорядочение же терминов в качестве единиц информационного языка предполагает наличие данных об их семантических парадигмах и частоте употребления в документах. Для терминологических работ нужен прежде всего материал по уже упорядоченным терминам данной и смежных предметных областей и по функционированию терминов в специальной речи. И, наконец, подготовка лексикографических изданий и проведение исследований предполагает использование самого широкого спектра данных. Таким образом, основная категория пользователей банка терминологических данных — это редакторы, переводчики, терминологи, научные работники, разработчики автоматизированных систем переработки текста.

Характер работ по созданию банков терминологических данных (БнТД) определяется тем, какое содержание вкладывается в понятие, какими функциональными свойствами наделяется объект [3. С. 29—33].

Если ориентироваться на функциональные и лингвистические аспекты проблемы создания БнТД, то можно дать следующее обобщенное определение понятия «банк терминологических данных».

Под банком терминологических данных понимается совокупность базы терминологических данных и соответствующих лингвистических и программных средств, обеспечивающих формирование, ведение и эксплуатацию этой базы. Это система комплексной автоматизации лингвистических исследований и разработок, состоящая из накопленных лингвистических данных, объективированных текстами, картотеками, словарями, грамматиками и другими лингвистическими источниками, а также программного обеспечения использования этих данных и конструирования новых лингвистических объектов — словарей, грамматик, языковых процессоров, которые, в свою очередь, могут войти в этот банк в качестве единиц хранения, источников новых данных и средств для новых разработок. База терминологических данных представляет собой множество определенным образом организованных (расклассифицированных) понятий (терминов), снабженных необходимой информацией.

Банк терминологических данных состоит из трех основных элементов: входа, хранения, выхода, которые выполняют соответственно следующие функции: сбор информации и формирование терминологической базы, ведение (коррекцию) терминологической базы и, наконец, выдачу (использование) терминологических данных.

В данной статье нами представлен проект БнТД азербайджанского языка с учетом имеющегося опыта применения ЭВМ в азербайджанском языкознании и задач, стоящих перед языковедами в свете выполнения программы всеобщей компьютеризации республики.

Несмотря на то, что ЭВМ сравнительно недавно применяются в азербайджанском языкознании, с их помощью уже построены частотные, алфавитные и обратные словари публицистических, научно-технических и художественных текстов на азербайджанском языке [4]; реализованы алгоритмы анализа и синтеза тюркских словоформ [5. С. 49—50]; построен автоматический словарь азербайджанского языка для системы азербайджанско-русского машинного перевода [6. С. 133—134]; сделаны определенные шаги в направлении автоматизации терминологических работ с целью подготовки, коррекции и ведения словарей [7. С. 102—114].

В настоящее время в республике большое внимание уделяется развитию и утверждению статуса национального языка, а также проблеме перевода научно-технической и художественной литературы на азербайджанский язык, и наоборот. Это требует, с одной стороны, предоставления в распоряжение соответствующих пользователей (переводчиков) при переводе текстов с одного языка (азербайджанского) на другой (русский, английский и т. д.) высококачественной терминологии азербайджанского языка, а с другой — соответствующих точных эквивалентов на языке перевода. Наличие банка терминологических данных азербайджанского языка могло бы оказать большую помощь как в осуществлении качественного перевода, так и в решении задач, связанных с чисто терминологической и словарной работой.

Основное назначение предлагаемого нами проекта БнТД — снабжение пользователей словарной информацией и использование ЭВМ для нужд переводчиков. База данных такого банка должна охватывать общенаучную и общетехническую лексику, специальную научно-техническую терминологию, включая информацию не только об отдельном термине, но и о терминологии в целом и/или о ее фрагменте. При этом будут решаться следующие задачи:

- I. Машинная помощь переводчику;
- II. Подготовка, коррекция и ведение терминологических словарей, а также снабжение пользователей словарной информацией;
- III. Терминологические справки;
- IV. Создание машинной базы по формированию специализированных словарей, предназначенных как для человека, так и для автоматизированных систем (например, толковых словарей по определенным разделам науки и техники, информационно-поисковых тезаурусов, словарей для автоматизированной переработки текста).

Охарактеризуем вкратце каждую из этих задач.

I. Использование БНТД для машинной помощи переводчику предполагает наличие базы данных, охватывающей терминологию различных областей знания (деятельности) в языках, с которых планируется перевод. БНТД должен содержать терминологические единицы, т. е. словарные статьи, в которых приводятся сведения об определенном понятии, и термины из многих языков, выражающие это понятие. Основной функцией БНТД является сбор, разъяснение и хранение терминов разных языков для оказания помощи переводчиком специальных текстов. Система должна выполнять следующие операции: выдачу словарей на дисплей (АЦПУ), выдачу списков терминов, упорядоченных по алфавиту, и в соответствии с правилами языка, выбранного в качестве исходного, отбор терминологических статей по определенным критериям (в качестве критерия могут выступать частотные и сетевые характеристики терминов, дефиниции терминов и т. д.).

II. Составление толкового терминологического словаря предполагает две основные операции: отбор лексики, т. е. составление словника, и подготовку дефиниций. Эти операции весьма трудоемки, и любые погрешности в их выполнении ведут к нарушению требований целостности, непротиворечивости, экспликативности и полноты. В то же время практика показывает, что при традиционном методе составления словарей — без обращения к средствам автоматизации — избежать этих противоречий невозможно [7. С. 102—104; 8. С. 14—18]. Поскольку словарь представляет собой единое системно-структурное образование, то все его элементы (термины) соединены между собой множеством связей, причем количество связей и их порядок (длина цепочек связей) столь велики, что проследить их без помощи средств автоматизации практически невозможно. Поэтому возникают такие трудно обнаруживаемые, но существенно влияющие на качество словаря ошибки, как неполнота отбора лексики, неполнота или неточность толкований, логические круги в определениях, насчитывающие иногда до 7—8 звеньев, и т. д. (примеры логических кругов приведены в [7; 8]).

Большие сложности возникают и при ведении словаря. Из трактовки словаря как системно-структурного образования вытекает, что любая операция над отдельным его элементом (удаление или добавление термина, изменение связи, что эквивалентно изменению дефиниции) влечет за собой необходимость изменений, затрагивающих иные элементы словаря и словарь в целом: добавление или удаление связей, переключение некоторых связей с одних терминов на другие, изменение структуры словаря [3].

Среди направлений работ по автоматизированному составлению и ведению толковых терминологических словарей можно выделить использование сетевого метода анализа лексики, позволяющего совершенствовать методику как отбора терминов, так и их толкования.

Суть указанного метода заключается в том, что первоначальный исходный материал, т. е. некоторый набор терминов и дефиниций, подвер-

гается обработке, в ходе которой вычисляются определенные параметры отдельных терминов и исходного словарного массива в целом. На основании этих параметров вырабатываются рекомендации по коррекции исходного массива в плане его состава и взаимосогласованности дефиниций.

Именно на втором этапе составления толкового терминологического словаря может помочь автоматизированная система анализа и коррекции терминологии, основанная на сетевом подходе [7—9].

Под коррекцией (ведением) понимаются следующие операции:

1. Исправление состава словаря, которое, в свою очередь, включает такие действия, как пополнение словаря терминами, относящимися к данной терминологии, но ранее в него не входившими; исключение из словаря терминов другой терминологии; «выравнивание» границ словаря, т. е. уточнение состава периферийной лексики таким образом, чтобы при равной силе связи терминов с ядром терминологии все они либо включались, либо не включались в словарь;

2. Изменение определений терминов;

3. Уточнение (или установление) структуры словаря.

Формирование и ведение толкового терминологического словаря включает в себя следующие процедуры:

1) установление границ предметной области, отражаемой в словаре;

2) уточнение состава и структуры словарной статьи и словаря в целом;

3) составление словника — первоначального варианта словаря;

4) анализ словника на основе сетевого моделирования лексики (сетевых параметров лексики);

5) коррекцию словника и отдельных дефиниций (удаление и/или добавление терминов, дефиниций, внесение изменений в дефиниции других терминов, затрагиваемых при этом, и т. д.);

6) структурирование словаря (выделение разделов, подразделов, установление между ними отношений подчинения — включения, пересечения, смежности и т. д.);

7) оформление словаря.

III. Среди задач, для решения которых необходим определенным образом организованный банк терминов, следует назвать составление различных терминологических справок, в частности сведений о синонимах, омонимах, дефинициях, принадлежности термина к той или иной научной школе.

IV. Словарный состав информационно-поисковых тезаурусов (ИПТ), какова бы ни была методика формирования последнего, есть не что иное, как отображение терминологической лексики естественного языка. Качество исходного терминологического материала в большей или меньшей степени (в зависимости от принятой методики составления словаря) влияет на качество продукта — ИПТ.

В работах [9; 10. С. 35—37] дан метод автоматизированного отбора лексики в ИПТ на основе анализа терминологических словарей, рассматривающий задачу формирования лексического состава ИПТ как оптимизационную, а именно как задачу минимизации объема ИПТ при сохранении приемлемой эффективности поиска, а также исследованы количественные параметры терминологической лексики (с помощью автоматизированной системы анализа терминологии) и выделены те из них, на основе которых целесообразно проводить отбор лексики в ИПТ.

При создании словарей для переработки текста, как и при составлении тезауруса, возникают аналогичные проблемы: 1) отбор лексики;

2) приписывание слову необходимой информации (в данном случае морфологической, синтаксической, семантической).

Рассмотрение перечисленных задач и существующего комплекса лингвистического и программного обеспечения для анализа терминологической лексики позволяет предложить следующий проект БИТД азербайджанского языка: основной банк данных предлагается строить по принципу двуязычных словарных статей. Структура входной информации такова: 1) слово (термин) или словосочетание (первичный доступ к информации осуществляется по термину); 2) переводный эквивалент; 3) толкование (дефиниция) — точное, ясное и краткое описание понятийного содержания лексических единиц в обоих языках; 4) контекст или пример употребления (контекст дается для русских (английских, немецких и т. п.) терминов, примеры употребления — для азербайджанских).

Дополнительный банк данных должен строиться на однозначной основе. Предлагается следующая структура словарной статьи азербайджанского языка:

- 1) слово (термин) или словосочетание;
- 2) дефиниция термина;
- 3) синонимы и омонимы;
- 4) сведения о том, какой из синонимических терминов является: а) стандартным (указывается ГОСТ); б) рекомендуемым (указывается сборник КНТТ); в) допускаемым (указываются сборник КНТТ и другие источники); определение: г) предметной области (общеупотребительное слово, общенаучный или общетехнический термин, раздел знания); д) принадлежности к той или иной научной школе, — эти сведения необходимы для выдачи различных терминологических справок;
- 5) перекрестные отсылки к более общим и частным терминам (эти отсылки особенно важны для лексиколога, так как направляют его работу в рамки определенного семантического поля, кроме того, они могут использоваться при составлении концептуально структурированного словаря);
- 6) отсылки к литературе по предмету, особенно необходимые переводчику, если абстрактное толкование термина не дает возможности понять, что же термин обозначает;
- 7) формальные характеристики (частота, системный вес и т. д.);
- 8) морфологическая информация (часть речи, род, тип парадигмы).

Вынесенный нами на обсуждение тюркологов проект создания банка терминологических данных азербайджанского языка может рассматриваться в качестве одного из основных блоков машинного фонда этого языка.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Казакевич О. А. Информационные системы — в помощь переводчику//Науч.-техн. информ. Сер. 2. 1986. № 7.
2. Гринев С. В., Лейчик В. М. Функциональная и структурно-содержательная типология банков терминологических данных как фактографических АИПС//Там же. 1988. № 7.
3. Скороходько Э. Ф., Стогний А. А. Некоторые вопросы создания банка терминов: лингвистический аспект//Там же. 1986. № 10.
4. Махмудов М. А. Разработка системы формального морфологического анализа тюркской словоформы: (на материале азербайджанского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Баку, 1982.
5. Махмудов М. А., Пиотровская А. А., Садыков Т. Система машинного анализа и синтеза тюркской словоформы//Переработка текста методами инженерной лингвистики: Тез. докл. конф. Минск, 1982.

6. *Велиева К. А., Махмудов М. А., Пинес В. Я.* Автоматический словарь в системе азербайджанско-русского машинного перевода//Тез. докл. Междунар. симпоз. по автоматическому составлению словарей. Таллинн, 1985.

7. *Мамедова М. Г.* Автоматизированный анализ и коррекция терминологических словарей: (на материале словаря лингвистических терминов азербайджанского языка)// Сов. тюркология. 1988. № 2.

8. *Мамедова М. Г., Скороходько Э. Ф.* Автоматизированная система анализа терминологической лексики//Науч.-техн. информ. Сер. 2. 1981. № 1.

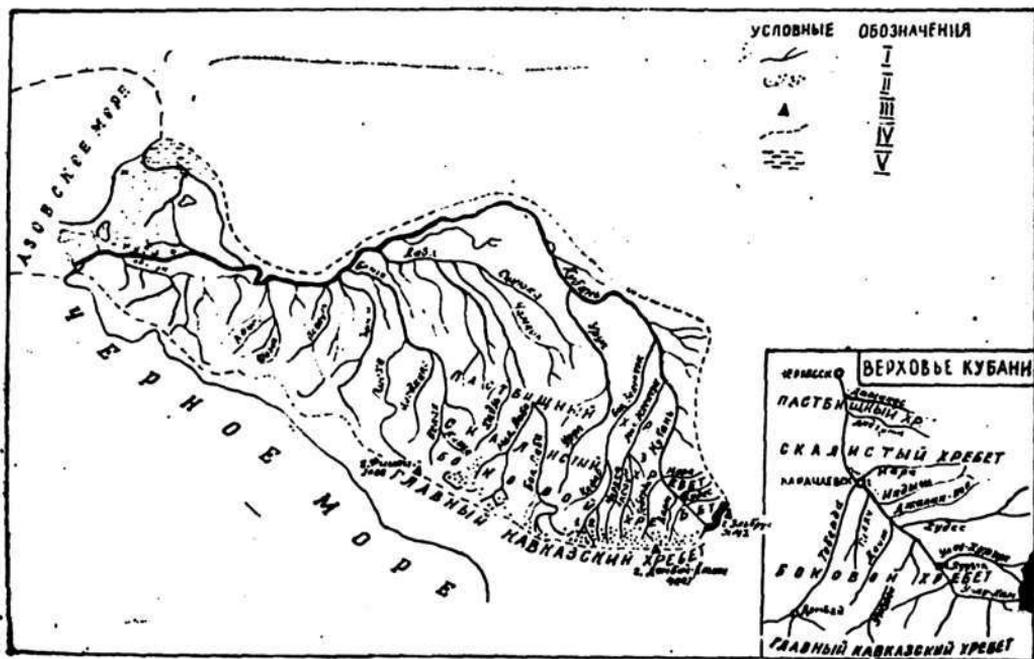
9. *Мамедова М. Г.* Автоматизированный отбор лексики в информационно-поисковый тезаурус на основе анализа терминологических словарей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 1984.

10. *Мамедова М. Г., Пинес В. Я.* Принципы построения информационно-поискового тезауруса по строительству//Тез. докл. семинара-совещ. «Республиканская система научно-технической информации и опыт организации информационного обеспечения народного хозяйства». Баку, 1985.

С. А. ХАПАЕВ

К ОСНОВНЫМ НАЗВАНИЯМ р. КУБАНЬ

Кубань, река на Северном Кавказе, является наиболее протяженной в данном регионе (ее длина 906 км). Одни авторы считают, что название Кубани дало место слияния р. Уллу-Кам и ее левого притока р. Уллу-Езени, другие — рек Уллу-Кам и Уллу-Хурзук у сел. Хурзук, третьи — рек Учкулан и Уллу-Кам. Многие карачаевцы реку ниже сел. Хурзук и вплоть до сел. Учкулан называют Хурзук суу. Как видно, единого мнения о том, откуда пошло название р. Кубань, ни в народе, ни в литературе не существует. Мы же склонны за официальное наименование р. Кубань принять название места слияния рек Хурзук и Учкулан у сел. Уччулак Карачаево-Черкесской автономной области (рисунок).



Гидрографическая схема бассейна р. Кубань (сост. С. А. Хапаев):  
 I — реки; II — ледники; III — вершины; IV — границы бассейна р. Кубань; V — Приазовская равнина; 1 — р. Архыз; 2 — р. Кызгыч; 3 — р. Карданик

Народности, проживающие по берегам этой реки, называют ее по-разному: карачаевцы и балкарцы — Къобан, черкесы, кабардинцы и

адыгейцы — Псыж, ногойцы — Коман, абазинцы — Къбина; в русской транскрипции она — Кубань. Это название распространяется кроме реки и на огромную территорию, прилегающую к ее бассейну, и на всю западную часть Северного Кавказа и Западное Приэльбрусье. Кто и когда назвал реку Кубанью? Г. А. Галкин и В. И. Корovin [1. С. 106—109] записали все известные названия Кубани, выявили их варианты, различия и допущенные искажения. Всего их оказалось более 200 (существует еще около 100 малоизвестных названий). Мы объединили все известные в источниках названия реки в 12 групп:

1. От кут 'вода', 'река': Хадир, Хадирь; Антикис, Антикаатес, Антикетас, Антикитас, Антикейт, Антикейта, Атицита, Атикитес и Атикит; 2. От *гипанис*: Гупанис, Гипаниз, Гипп, Гиппанис, Гипаннис, Гипанис; Ипанис, Ипанид, Ипаний, Крипанис;

3. От *бал, вал, вар, ваз*: Вардан, Варданис, Варданаус, Варданус, Валданис, Вазан, Варсан, В-р-шан, Варшан, Вардань, Бурка, Бурлик (возможно, относится к XI в.);

4. От адыгского *пси* 'вода': Психце, Псише, Пси-ще, Псыз, Псыж, Псыжь, Псижь, Пшис, Пшиз, Пшыз, Пшизе, Пшизь, Пжизь, Пшин, Псевхрос, Психр, Псат, Псатес, Псатис, Псатхис, Псатий, Псафий, Псафис, Псафия, Псаахасий, Псалтис, Псапос, Псетерий; Описсас, Апсар; Тхапсис, Татес, Тапсис; Фасис, Фат;

5. От *кара* 'черный' + *Кан, Кон, Кул, Гул, Куль, Гуль, Кубан, Кубань* 'река': Корокондама, Карокондама, Кораканда, Короконда, Караканда, Корак, Каракул, Карагул, Кара-Гуль; Харакул, Харакуль, Хоракул; Кара-Чюнгел, Каракубан, Каракубань, Кара-Кубан, Кара-Кубань, Кары-Кубань, Кура-Кубань, Каура;

6. На основе предыдущих возникли следующие русские названия: Черновода, Черный Кубан, Черная река, Черная Кубань, Черная Протока, Черный Проток, Проток, Притока, Протока;

7. От *къум* 'песок': Къумли 'илистая', Къумли-Къумань 'Илистая Кубань';

8. От карачаево-балкарского *къобан*, ногойского *къоман* 'Кубань', а также от *куман* со значением «река» и этнического названия куман: Куман, Кумень, Кумана, Кумака (Кумли-Кубанью река называлась близ устья — в прибрежных районах Черного и Азовского морей, где распространены песчаные ландшафты);

9. От *къопа, къоба*: Ло копа, Локопа, Ло-копа, Лоцикопа, Лоцикопо, Копа, Коппа, Кофин, Кофина, Куфис, Купи, Ло купа, Ло Копарио, Коба, Кобан, Кубу, Кубин, Куба, Кубба, Кубан, Темрюк-Кубань, Большая Кубань, Старая Кубань, Акъ Кобан;

10. От *акъар* (ср.: карачаев.-балк., тат. *акъар* 'проточный', 'текучий'): Охар, Охарий, Ахардей, Алардей, Ахарддае, Ахардас, Ахеунта, Ахейус, Укруг, Укрух, Укруч, Сахарий, Сетерий;

11. От *джыльга* 'река': Джиги, Джись, Джаго, Джага, Джига;

12. Одиночные названия Кубани: Тотордан, Панда, Меоте (последнее, возможно, происходит от народности меоты). Некоторые наименования Кубани имеют весьма прозрачную этимологию: Бугаз (Богъаз) от тюркского «залив», «горный перевал, проход».

Географическое название Бугаз (Богаз), в основу которого положен географический термин, наряду с другими тюркскими названиями широко распространено в низовьях Кубани, о чем свидетельствуют многочисленные источники и карты двух прошлых веков.

Приведем данные географические названия согласно описанию П. П. Семенова-Тян-Шанского:

«Бугаз:

- 1) пролив, соединяющий Кубанский лиман с Черным морем;
- 2) залив (небольшой лиман) на с.-зап. стороне Кубанского лимана (длина до 15 верст);
- 3) слобода на берегу Кубанского лимана;
- 4) самоосадоочн. соленое озеро и целебные грязи в 3 верстах к зап. от слободы на бер. Черного моря. В 2-х верстах от озера 3 минеральных источника» [2. С. 322—323].

В географической и исторической литературе чаще всего встречается название Кызылташ (Къзылташ): *къзыл* 'красный', *таш* 'камень'. В словаре П. П. Семенова-Тян-Шанского об этом топониме сказано: «Кубанский лиман, или Кызылташ, — лиман Черного моря при устье р. Кубани ... наибольшая длина 40 верст, ширина 13 в. ... вдается во внутренность лимана, где широкая возвышенность Джеметей ...» [3. С. 814]. Здесь же сообщается, что в устьевой части Кубани на Таманском полуострове расположен Ак-тенгиз (Белое озеро — по книге) [2. С. 36—37].

Что касается Каракубани, то о ней говорится следующим образом:

«Каракубань: 1) левый рукав Кубани, Кубанской области, выходить из Кубани, въ 18 в. ниже укр. Копыло и соединяется съ него в 7 в. ниже Талызинской переправы; образуя Каракубанский остров, имеющий въ дл. 76 в. и въ шир. отъ 9 до 12 в.;

2) р., Кубанской обл., лев. прит. Кубани, по-черкесски Афипсь (см. это сл.), Кубанской обл. ...» [3. С. 497].

Птолемей в своих работах р. Кубань упоминает под названием Вардан, Варданус, Варданис, а в «Армянской географии VII века» о ней говорится как о Валданисе (Варданессе).

По Семену Броневскому, Кубань греки называли Гипанис, у Птолемея она — Вардан, у хазар — Укруг, у итальянцев — Копа (генуэзский период XIII—XIV вв.) [4].

Н. А. Захаров приводит множество аргументов в пользу древнейшего названия Кубани — Уардан и считает, что «наиболее древним является геродотово-птолемеевское наименование — Уардан, которое, конкурируя с другими наименованиями, не смогло так сохраниться ни в основном, ни в искаженном даже несколько имени, как это мы видим в отношении Танаиса — Дона, Данаприна — Днепра и других рек» [5. С. 55—72].

Почему у Кубани было столько названий? Ведь даже у Волги их менее ста. Видимо, здесь главную роль сыграло то, что в бассейне реки жило множество народностей и племен — скифы, сарматы, гунны, булгары, хазары, аланы, печенег, половцы. В XIII в. на Северный Кавказ проникли татаро-монголы, в XV—XVIII вв. — турки, несколько позже, к началу XVII в., низовья р. Кубани осваиваются русскими. Большая часть низовьев Кубани вплоть до берегов Азовского и Черного морей была заселена древними предками черкесов, кабардинцев и адыгейцев. Карачаевцы издревле жили в ее верховьях. Все это способствовало возникновению сложного топонимического пласта в бассейне реки. Кубань упоминается в источниках XVIII в., но есть предположение, что это название утвердилось гораздо раньше.

Н. А. Захаров пишет: «Известно, что в начале XVIII века Кубань именовалась Кобаном. Это наименование прилагают к Кубани живущие в ее верховьях карачаевцы после слияния двух ее истоков — Уллу-Кама и Уллу-Хурзука в одну реку. ... Что же касается до населения по Кубани в начале XVIII в., то, по сообщению Ксаверие Главани, „от впадения Кобани до Терека“ жили ногайцы и, может быть, под этим именем от них мог узнать ее и Главани» [5. С. 55].

В 1770—1773 гг. акад. И. А. Гюльденштедт, совершив поездку по Кавказу, написал книгу, которая на русский язык была переведена только в начале XIX в. В ней автор о Кубани сообщает следующее: «...он (Эльбрус) лежит около вершины Кубани и смещен к западу с Абазинским округом Башильбаем, а к югу — с Сванетиею. С восточной стороны отделяет его горный хребет Чалпак от кабардинцев, живущих на реке Баксан. На упомянутом хребте (правильнее — Джалпак. — Х. С.) берет свое начало реки Малка и Кума» [6. С. 148].

Предпринимались ли раньше попытки выяснить значение названия Кубань? Безусловно. Еще в V в. до н. э. Геродот писал, что Гиппанис (древнее название р. Кубань) в переводе означает «конская». Известный советский топонимист В. А. Никонов пишет: «Современная форма гидронима Кубань, может быть, ближе к подлинной, чем Гиппанис» [7. С. 131]. Однако И. Г. Добродомов [8] считает, что В. А. Никонов в переводе слова «гиппанис» допускал ошибку.

По мнению некоторых ученых, сходство названий Куман, Кобан, Кубань указывает на тюркское происхождение этого гидронима. Карачаевцы и балкарцы р. Кубань называют Кобан. Этим же словом назывались в Карачае многоводные реки, например, Теберди-Къобан, Худес-Къобан (т. е. Теберда и Худес) и т. д.

Х.-М. И. Хаджилаев пишет, что гидроним Кубань берет начало от глагола *къоб* 'подниматься, вздуться, разливаться' [9. С. 20]. Л. Г. Гулиева, посвятившая топонимии Кубани кандидатскую диссертацию, считает, что «современное название Кубань — это, скорее всего, славянская передача карачаево-балкарского названия Къобан, представляющего собой причастную форму на *-ан*—взбешенная, взбушевавшаяся—от основы глагола *къоб*. Таким образом, тюркская гипотеза о происхождении современного названия „Кубань” представляется ... наиболее приемлемой» [10. С. 140]. Подтверждает это и М. А. Хабичев, который выдвигает предположение о тюркском происхождении названия реки [11. С. 18]: слово «Кобань» могло произойти от *кап, коп* 'вода', 'река', а имяобразующий аффикс *-ан* до конца оформил нынешнее название реки. Далее, исследуя этимологию названия Кубань, он делает вывод: «В языке карачаевцев слово *къобан* означает „река”, „большая река”. Как русские называют реку словом „река”, осетины—словом *дон*, кабардинцы — словом *псы*, так и карачаевцы любую реку именуют *къобан*. Осетинское *дон* и кабардинское *псы* носят еще и значение „вода”, а карачаевское *къобан*, как и русское слово река, — только значение „река”» [12. С. 98—101].

Необходимо отметить, что ряд авторов, неверно определяя географическое положение истинной Кубани, давали ей название Волги (Итиль) и других рек: Термодонт, Ромбите, Мермод, Танаис.

Г. А. Галкин и В. И. Коровин пишут [1. С. 108]: «Столь большое количество гидронимов для одной и той же реки подтверждает наши выводы о сравнительно позднем формировании современного названия р. Кубань». Мы же в этом сомневаемся, ибо Кубань в различных вариантах встречается начиная с «Истории» Геродота: Гипан-ис, Купи, Куф-ис, Кофин, Копа, Коба, Куба и т. д.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Галкин Г. А. и Коровин В. И. Опыт исследования названий р. Кубань//Ономастика Кавказа. Орджоникидзе, 1980.
2. Семенов-Тянь-Шанский П. П. Географическо-статистический словарь Российской империи: В 5 т. Спб., 1863. Т. 1.

3. *Он же*. Географическо-статистический словарь Российской империи: В 5 т. Спб., 1865. Т. 2.
  4. *Броневский С.* Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собр. Сем. Броневским. М., 1823.
  5. *Захаров Н. А.* Древнее наименование реки Кубани//Изв. Гос. Рус. геогр. о-ва. Л., 1930. Т. 12, вып. 1.
  6. *Гюльденштедт И. А.* Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа из путешествия господина академика И. А. Гюльденштедта через Россию и по Кавказским горам в 1770—1773 годах / Пер. К. Германа. Спб., 1809.
  7. *Никонов В. А.* Введение в топонимику. М., 1965.
  8. Устное сообщение автору в 1987 г.
  9. *Хаджилаев Х.-М. И.* Очерки карачаево-балкарской лексикологии. Черкесск, 1970.
  10. *Гулиева Л. Г.* О названиях реки Кубань//Топонимика Востока. М.: Наука, 1969.
  11. *Хабичев М. А.* К гидронимике Карачая и Балкарнии. Нальчик, 1982.
  12. *Он же*. Кубань, Терек, Черек//Вопросы сопоставительного изучения языков народов Карачаево-Черкесии. Ставрополь, 1978.
-

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. З. УЛАКОВ

### ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УНИФИКАЦИИ КНИЖНЫХ ТЕРМИНОВ СОВРЕМЕННОГО КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА

Ускорение научно-технического прогресса настоятельно требует упорядочения и дальнейшего развития терминосистемы языка. При функциональных возможностях современного карачаево-балкарского языка адаптация нового термина происходит в первую очередь в газетно-информационных и переводных текстах. В переводных текстах сочинений классиков марксизма-ленинизма, материалов съездов КПСС, а также постановлений ЦК КПСС обращает на себя внимание обилие калек, полукалек, порой даже целых синтаксических конструкций русского языка. Однако очень часто образующиеся под влиянием газетных и журнальных материалов, переводов общественно-политических статей, докладов и т. п. термины и выражения оказываются неустойчивыми, а многие перспективные варианты обозначения новых явлений, к сожалению, с трудом закрепляются в терминосистемах. Такое положение объясняется, в частности, тем, что многие авторы из Карачая и Балкарни, а иногда даже внутри одного из этих регионов пользуются разными вариантами термина, тогда как элементарным требованием языковой нормы является функционирование термина внутри только одного литературного языка. В результате расхождений в калькировании и переводе заимствований увеличивается число дублетных терминов. Все это препятствует созданию единой терминологической базы карачаево-балкарского языка [1. С. 103].

Согласно диалектике языкового развития в языке могут сосуществовать многие варианты, признаваемые регионально равноценными и в определенной мере допустимыми. Вместе с тем не все то, что возникает в языковой стихии, закрепляется и становится впоследствии нормой. Многие просто не соответствуют языковой действительности. Именно поэтому при канонизации норм терминологических систем литературного языка, как справедливо предлагает большинство лингвистов, необходимо руководствоваться воздействием социальных условий, принципами традиционной речевой этики, влиянием культурной среды и т. п. Следует также принимать во внимание функционально-динамический характер вариантов термина, условия их взаимодействия и причины появления. Языковая система и языковая норма, будучи взаимосвязанными, обуславливают возникновение вариантов терминов, не предусмотренных ни языковой системой, ни нормой. Эти варианты могут либо закрепиться и войти в систему, либо оказаться отброшенными и системой и нормой [2. С. 48].

С одной стороны, компромиссный подход ко многим вариантам тер-

минов в новописьменных языках представляется справедливым [3. С. 162], ибо при современном уровне развития языка нет твердых критериев для отбора наиболее перспективных из них. И тем не менее варианты терминов требуют необходимой унификации. В первую очередь должна быть ликвидирована внутрорегиональная разница, заключающаяся в том, что газета, например, пользуется заимствованной формой термина, а журнал — его калькой, или наоборот. Следующим шагом должно быть упразднение разнобоя в обоих регионах. (Ср.: карачасв. *саутлу кючле* и балк. *саутланган кючле* 'вооруженные силы', карачаев. *баш секретарь* и балк. *генеральный секретарь* 'генеральный секретарь', карачаев. *ал башланган парторганизация* и балк. *биринчи парторганизация* 'первичная парторганизация'). Например, помимо заимствованного слова, передающего новое понятие, в языке может параллельно существовать его описательно упрощенный вариант, калька или полукалька. В активную конкуренцию иной раз вступают некоторые исконные слова, приобретающие при этом новое значение. На первом этапе демократизации таких терминов явно ощущается их искусственность. Ср.: *жумушатыу* 'рыхление', *кюзлендириу* 'озимизация', *агроамал* 'агропроект', *агрожорукъ* 'агроправило' и т. п. Некоторые из вариантов в языке не приживаются вообще или поддерживаются искусственно, например, *суутухуч* 'холодильник', *жукъартхыч* 'прореживатель', *дискалау* 'дискование' и т. п. Функционирование подобных форм терминов в языке порождает их дифференциацию на стилистические варианты типа *ветврач* (кн.), *мал доктор* (нейтр.), *мал уста* (простореч.); *ящур* (кн.), *селегей* (нейтр.), *аякъ ауруу* (простореч.), *тил ауруу* (простореч.).

Итак, для современного карачаево-балкарского языка характерно вариативное терминопотребление, выражающееся в параллельном использовании заимствованного термина, его описательного варианта или переводного эквивалента [4. С. 58]. Иногда, исходя из традиционных представлений о правильности варианта или формы термина, новообразование, которое в действительности является жизнеспособным и даже перспективным, опровергается. Главным регулятором подбора приемлемых форм и вариантов термина очень часто выступает культурная ориентация отдельных представителей карачаевской и балкарской интеллигенции. Немаловажное значение в этом случае имеют социальные факторы, такие, как образование, возраст, принадлежность тому или иному региону, профессиональные навыки и др.

Современный литературный карачаево-балкарский язык, включая его нормативные и ненормативные варианты, развивается под сильным влиянием общенародного языка. Соответственно все слои лексики, в том числе и терминосистемы, в силу специфики своего применения и условий функционирования подвержены воздействию целого комплекса экстралингвистических и многоязычных факторов. Если в начальный период послеоктябрьского развития тюркских языков процесс заимствования иноязычных терминов был довольно бурным, то в настоящее время он заметно ослабел, уступив главенствующую роль калькированию и терминопотреблению [5. С. 163]. Заимствования на современном этапе проникают из русского языка или через его посредство из других языков и осваиваются через печать. В отличие от старых заимствований, которые подвергались значительной деформации и подчинялись произносительным нормам, новые сохраняют орфоэпические каноны языка оригинала [6. С. 14].

Наиболее распространенным вариантом книжных терминов является

ся произвольная комбинация интернациональных и собственно карачаево-балкарских элементов. Например: *минерал ашау* 'минеральное удобрение', *агроамал* 'агроприем', *таза пар* 'чистый пар' и т. п. Некоторые термины, такие, как *жерчиликни культурасы* 'культура земледелия', *топуракъны хауа низамы* 'воздушный режим почвы', *хансы артылгъан битимлени сепген система* 'пропашная система земледелия', слабо функционируют в письменном языке и почти не употребляются в индивидуальной речи специалистов: разговорная речь, можно сказать, их не воспринимает вообще. Однако все это не значит, что в рассматриваемом языке новые термины плохо приживаются. На данном этапе развития языка наблюдается переход многих технических терминов в газетно-журнальную лексику, а также в язык художественной литературы. Иногда это завершается детерминологизацией некоторых из них [7. С. 20], например: *космос, космонавт, ракета, рак, хирург, анальгин* и т. п. Часть таких терминов способна проникать даже в разговорную речь, что обуславливается широкой демократизацией всех слоев лексики языка, в том числе и терминосистем.

Современный книжный карачаево-балкарский язык развивается прежде всего как язык учебников и учебной литературы. По своим задачам учебно-педагогические издания сближаются с агитационно-пропагандистской литературой. Большое развитие за последние десятилетия получила научная и научно-популярная литература, что также способствует совершенствованию и унификации книжных терминов.

Говоря непосредственно о лингвистических терминах, следует указать на случаи использования в специальных текстах тех из них, которые еще не устоялись, а это затрудняет понимание обозначаемых ими понятий. Многие термины необходимо пересмотреть и уточнить, т. е. требуется сознательное вмешательство в их унификацию. При этом следует руководствоваться языковым сознанием нашего времени [8. С. 63] и строго учитывать региональные особенности функционирования литературного карачаево-балкарского языка. Дальнейшее совершенствование языка и канонизация его литературных норм предполагают сведение как внутрирегиональных, так и региональных вариантов терминов к единым образцам.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Отаров И. М.* Развитие общественно-политической лексики в периодической печати: (на материале карачаево-балкарского языка//Язык и массовая коммуникация: (социологическое исследование). М., 1984.
2. *Макаев Э. А.* Понятие давления системы и иерархия единиц//Вопр. языкознания. 1962. № 5.
3. *Тхаркахо Ю. А.* Становление стилей и норм адыгейского литературного языка. Майкоп, 1982.
4. *Улаков М. З.* Проблемы карачаево-балкарской стилистики//Сов. тюркология. 1986. № 3.
5. *Мусаев К. М.* Лексикология тюркских языков. М., 1984.
6. *Гузеев Ж. М.* Орфография русских заимствований в карачаево-балкарском языке//Сов. тюркология. 1977. № 5.
7. *Шклярковский Г. И.* Русский язык в период развитого социализма//Русское языкознание. Киев, 1980. Вып. 1.
8. *Юлдашев А. А.* Принципы составления тюркско-русских словарей. М., 1972.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### М. А. ХАБИЧЕВ. ИМЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В КУМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

М.: НАУКА, 1989. 218 с.

Рецензируемая книга состоит из введения, трех глав, заключения, списка словарей, библиографических сокращений и литературы.

Во введении автор, останавливаясь на особенностях языков куманской подгруппы западно-кыпчакских языков и подвергая научному анализу проблемы именного слово- и формообразования, приходит к выводу, что куманские языки, хотя и имеют общие черты, в то же время являются самостоятельными, сложившимися в разное время на различных территориях и в окружении различных языков (с. 11, 29).

В разделе, посвященном проблемам именного словообразования и формообразования, описаны четыре неморфологических способа словообразования: лексический, лексико-семантический, а также морфологический с его разного рода типами и моделями. Автор делит словообразование на диахроническое и синхроническое. Для диахронии ведущими считаются лексико-синтаксический, лексический и морфологический, а для синхронии — морфологический и менее развитые неморфологические способы. Возникновение лексико-семантического и морфолого-синтаксического способов словообразования связывается с многозначностью слова, обусловленной метафорой, метонимией, общностью функций, синекдохой, превращением собственных имен в нарицательные и нарицательных — в собственные, и омонимией, возникающей в результате отхода слова от своего семантического гнезда, потери мотивации, превращения производной основы в непроизводную, изоляцию слова. Омонимия при лексико-семантическом способе пополняет только одну часть речи, а при морфолого-синтаксическом — разные (с. 27—32). Среди слов, полученных лексико-синтаксическим путем, выделены составные и сложные имена разных типов (с. 33). При морфологическом способе образования имен к производящим корням (основам), имеющим прямое или переносное значение, присоединяются словообразующие аффиксы (непро-

дуктивные, малопродуктивные, продуктивные). М. Хабичев выделяет четыре возможных пути появления аффиксов в куманских языках: 1) самостоятельное слово переходило в служебное, а служебное — в аффиксы словообразования, формообразования, словоизменения; 2) самостоятельное слово переходило в аффикс и без промежуточных ступеней; 3) часть аффиксов восходит к контаминации суффиксов, полученных в основном путем переразложения или опрощения; 4) аффиксы могли быть результатом дальнейшего развития суффикса более сложной структуры. Исследование взаимовлияния первичных корней и непродуктивных аффиксов показывает синкретичность семантики первых и вторых, подверженность их разного рода фонетическим и семантическим изменениям. Аффиксы, позднее ставшие непродуктивными, способствовали дальнейшему лексико-грамматическому развитию именных частей речи. С их помощью были созданы названия частей тела, природных явлений, флоры и фауны, качеств, различных процессов, орудий труда, предметов, указательных и количественных слов, термины мифологии, культуры, искусства.

Новым является обнаружение закономерности, при которой малопродуктивные аффиксы, в отличие от продуктивных, присоединяются или к именным или к глагольным основам. Подобная дифференциация формальных показателей связывается с продолжающимся расчленением значений именных и глагольных основ. По мнению М. А. Хабичева, присоединение продуктивных аффиксов словообразования к корням привело к восходящему развитию семантики морфологической структуры слова, к образованию производных именных основ.

Большое значение для лингвистической науки, в частности практического изучения тюркских языков, имеют выводы о том, что тюркские корневые слова по природе своей были многозначными: значение производной основы приобретает на базе одного какого-либо (прямого или переносного)

значения исходной основы; семантика аффикса раскрывается только при присоединении его к исходной основе и т. д. (с. 31); производные основы могут быть полисемантическими. Аналогичным образом раскрыты семантические и структурные особенности аффиксов.

Морфемы аффиксального формообразования отличаются от суффиксов словообразования и флексий объемом и отвлеченностью значения, составом, местом в структуре слова, употреблением, выполняемой функцией тем, что определяет разряд слова, характерную его грамматическую категорию (с. 34—37).

Словоизменяемые морфемы (окончания) обладают своеобразными семантическими, фонетическими, словообразовательными, морфологическими и синтаксическими особенностями (с. 38—39). Аффиксы словообразования придают основе новое лексическое значение, аффиксы формообразования и флексии — грамматическое. Семантика предшествующих морфем в тюркских словах более конкретна, семантика последующих подобна отвлеченной семантике предшествующих (с. 36—39).

Особый интерес представляют синкретические морфемы. Синкретическими аффиксами автор именуется большинство непродуктивных аффиксов, которые, присоединяясь к именным и глагольным основам, создавали новые слова, и аффиксы, выполняющие двойную функцию одновременно: словообразующую и формообразующую: *-лы.., -сыз..* (с. 36) и др.

В первой главе «Непродуктивное словообразование» (с. 41—136) исследуются лексический и морфологический способы образования имен и уже на их основе — неморфологические пути словообразования. Рассматривается более 180 аффиксов, входящих в основном в генетически родственные аффиксальные группы со значением уменьшительности, соразмерности, уподобительности, уменьшительно-уподобительности, совместности, соучастия, множественности, пространственности, результативного процесса, создающих производные основы, одна часть которых мотивируется именными и глагольными исходными основами, а дру-

гая — только именными или только глагольными производными основами.

Вторая глава (с. 137—178) посвящена продуктивному словообразованию имен. На богатом фактическом материале алтайских языков нашли необходимое научное объяснение морфологические и неморфологические образования имен числительных, происхождение, образование и структурно-семантические особенности местоимений, лексико-синтаксический способ образования существительных, прилагательных и наречий. Исследуемые аффиксы объединены в генетически и семантически родственные группы со значениями соразмерности, имени деятеля, обладания, привативности, названия действия, уменьшительности-уничтожительности.

В третьей главе (с. 179—206) излагаются особенности именного формообразования. Автор монографии продолжает развивать свое мнение, выдвинутое в прежних работах, о том, что именное формообразование: аффиксальное, аналитическое и флексивное — является объектом изучения морфологии, а никак не словообразования. В разделе «Аффиксальное формообразование» исследованы притяжательная, относительная, сравнительная, уподобительная, привативная, уменьшительная формы, формы обладания и неполноты качества — 70 аффиксов с их вариантами и вариациями.

Флексивное формообразование (с. 189—206) объединяет категории числа и принадлежности, склонения, сказуемости — всего 108 флексий с различными вариантами и вариациями. Все изучаемые морфемы словоизменения снабжены сводными таблицами, богатым фактическим материалом.

Рецензируемый труд М. А. Хабичева, выгодно отличаясь от его предшествующих работ по словообразованию и формообразованию своим композиционным построением, пробуждает у читателя творческое отношение к лингвистическим фактам. Он может служить учебным пособием для аспирантов и студентов филологических факультетов тюркоязычных регионов нашей страны.

*И. Х. Ахматов, Ж. М. Гусев,  
М. З. Улаков*

## Д. М. НАСИЛОВ. ПРОБЛЕМЫ ТЮРКСКОЙ АСПЕКТОЛОГИИ: АКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Л.: НАУКА, 1989. 208 с.

Проблема глагольного вида в тюркских языках является одной из актуальных проблем тюркского языкознания. За последние десятилетия накоплен большой материал

для ее конкретной разработки, а также теоретического обоснования. В рецензируемой книге предпринята попытка прежде всего теоретического рассмотрения проблемы ас-

пектуальности в целом и ее подраздела — учения о способах действия, или, в терминологии автора, акциональности. При этом акцент сделан на наиболее репрезентативном типе выражения способов действия в тюркских языках с помощью вспомогательных глаголов.

Указанные вопросы исследуются в монографии в русле функциональной грамматики, уделяющей особое внимание соотношению грамматических категорий и функционально-семантических полей. По определению Д. М. Насилова, ядром поля аспектуальности в узбекском языке (именно на его материале построена в основном работа) выступают специализированные формы способов действия, представленные моделью: деепричастие + вспомогательный глагол; далее располагаются отдельные видо-временные формы, связанные с качественной и количественной аспектуальностью, и лексические средства.

Цель работы автор видит в уяснении связей между компонентами функционально-семантического поля аспектуальности, в осмыслении семантической сущности отдельных способов действия как ядерных элементов поля, в определении их функциональной нагрузки. В связи с этим возникает вопрос о связи лексической аспектуальности (акциональности) и морфологической акциональности в форме бивербальных конструкций.

При функционировании грамматических категорий внутри поля наиболее естественным представляется путь их описания «от содержания к форме», т. е. выявления набора формальных средств реализации в языке определенных смыслов. Поэтому автор работы уделяет особое внимание набору вспомогательных глаголов, дающих модификации в отношении способов действия у неопределенных лексем. Связь между фазовыми способами действия и качественной аспектуальностью показана в работе на примере категории результата.

Теоретическая направленность исследования делает его интересным широкому кругу тюркологов. Более того, книга важна и для исследователей, специализирующихся в области алтайских языков, поскольку и здесь остается еще много нерешенных проблем, связанных с описанием способов действия, аспектуальной семантики в целом. Следует также отметить, что и типологически средства представления акциональной семантики в алтайских языках достаточно близки к тюркским, о чем говорит и автор работы (к этим вопросам он обращался в своих предыдущих публикациях, хорошо известных языковедам-алтаистам). Данное обстоятельство повышает статус типологической смысловой константы, находящейся морфолого-синтаксическое воплощение в языках агглютинативного строя, поскольку уточняется мера смысловых различий и направления специализации сходных означающих, служащих реализации различных смысловых заданий в этих языках. В этом

плане работа Д. М. Насилова имеет важное научное значение.

Монография состоит из предисловия, четырех глав, заключения и списка литературы. В предисловии намечены указанные выше особенности разработки темы и исходные теоретические позиции автора.

В первой главе — «К истории изучения аспектуальных значений в тюркских языках» — освещаются основные проблемы аспектологии применительно к тюркским языкам, подходы тюркологов к лексико-семантическим группировкам глаголов, связанных с отражением аспектуальных различий, дается общая характеристика направлений в изучении тюркской аспектуальности и акциональности в отечественной и зарубежной лингвистике. Изучение тюркологической литературы дает основание автору прийти к выводу о том, что именно на материале турецкого языка в отечественной и зарубежной тюркологии выполнены исследования в русле современных аспектологических идей» (с. 29). Приблизительно с 60-х годов в тюркологии наметился сдвиг в следующих направлениях: а) на тюркском материале актуализируется идея о различении собственно видовых значений и значений способов действия (акциональных) как «соотносительных, но содержательно разных языковых явлений» (с. 33); б) выявилась тенденция рассматривать систему временных форм как форм видо-временных, в которых сопряжены аспектуальные и темпоральные значения; в) большее внимание уделяется функциональному подходу к описанию фактов, при котором существенное место отводится взаимодействию лексического и грамматического уровней языка. Было бы интересно сопоставить данные выводы автора с принципами описания аспектуальных систем в других алтайских языках, например, в тунгусо-маньчжурских и монгольских. Заметим, что в области изучения этих языков в последние годы предприняты усилия по уточнению принципов и методов рассмотрения аспектуальных значений. Объединение усилий специалистов в различных областях языковедения здесь просто необходимо.

Во второй главе работы — «Семантическая структура глагола и аспектуальность» — анализируется семантическая структура глагольной лексики, в которой закрепляются отраженные сознанием объективные признаки разной степени абстрагированности, в том числе и поднимающиеся до уровня категориальных обобщений.

Автор рассматривает структуру лексического значения глагола как части речи, ориентированной на передачу в языке процессов, а также выясняет место аспектуальной семантики в этой структуре. Он исходит из представления о том, что лексическое значение формируют, по крайней мере, два типа отражательной семантики — «вещественная» и «категориально-грамматическая». Автор пишет: «Последовательно рассмотрим указанные проблемы на материале тюрк-

ских языков, грамматические особенности которых определяются агглютинативным типом языка. При этом будем исходить из того понимания семантики способов действия глагола — акциональной семантики, при котором она соотносится исключительно с несамостоятельной языковой семантикой, обязательно выраженной грамматическими показателями. Способы действия связаны с изменением акциональной части лексического значения глагола, часто не затрагивающим вещественного компонента, что позволяет говорить о единстве слова с показателями разных способов действия, а их присоединение относить к формообразованию» (с. 36). Для аспектологии важны, следовательно, обе стороны значения глагола: «вещественное» содержание и языковой категориальный признак «процессности». Именно они теснейшим образом связаны с содержанием аспектуальности как отражением особенностей структуры процесса, обозначаемого глагольной лексемой. В данной главе аспектуальные значения тюркского глагола исследуются в двух направлениях: 1) лексические и грамматические значения, 2) процессность глагола и аспектуальные характеристики.

Третья глава озаглавлена «Базовые аспектологические понятия в ономаσιологическом освещении». Как видно, в ней базовые аспектологические понятия, выработанные в современной аспектологии (необходимость использования их в тюркологии не подлежит сомнению), рассматриваются с точки зрения их ономаσιологической природы. Автор затрагивает разные стороны представления аспектуальных и акциональных характеристик процесса в языке, особое внимание уделяет он определению семантической зоны акциональности и средствам ее выражения на разных языковых уровнях. Из общей семантической зоны аспектуальности автор выделяет семантику способов действия, или семантическую зону акциональности. По его мнению, это несамостоятельная языковая семантика; с формальной стороны она представлена в глагольной лексеме грамматическими показателями. Способы действия в таком случае служат уточнению семантики процесса, добавляя дополнительные значения к лексическому значению исходного глагола. Следовательно, в рамках единого лексического значения глагола могут объединяться глагольная лексическая и глагольная морфологическая акциональность, противопоставленные неглагольной акциональности, т. е. выраженной за пределами глагольной лексики. Анализ внутреннего содержания глагольной акциональности позволяет не только выявить ее особенности, но и поставить вопрос о стратификации акциональных признаков, в основе которой лежит уровень взаимодействия фа-

зовой и акциональной семантики. Способы действия изменяют акциональную часть лексического значения глагола, по-разному взаимодействуя с вещественной его частью.

В четвертой главе — «Функциональные связи лексической и морфологической акциональности в узбекском языке» — описывается качественная модификация глагольной лексической акциональности, выявляемой в двух основных группах глаголов — непередельных и предельных лексемах, а также в своего рода промежуточных глаголах развития (мутативных).

Автор доказывает исключительно тесную взаимосвязь лексической и морфологической аспектуальности и строгую взаиморегулируемость средств представления служебной информации, средств выражения способов действия и лексической базы глагола. Выбор и набор средств репрезентации коммуникативного задания осуществляются не факультативно, а по строгим правилам согласования «средства» и «функции», заложенным в языковой системе.

Закономерным итогом всей работы является вывод о том, что функциональный и системный подходы к анализу категорий тюркских языков помогают раскрыть субстанциональные возможности и сложившуюся систему внутренних связей между элементами разных ярусов языка, прежде всего между лексическими значениями слов и значениями морфологических форм.

Тюркская аспектуальная семантика и способы ее выражения подчиняются закономерностям, которые вскрываются также на материале других языков и не выходят за рамки языковой типологии. Этот важный типологический вывод заслуживает полного одобрения; как показывают факты многих языков, типологические закономерности устойчивы.

Таким образом, в центр внимания тюркской аспектологии на новом этапе ее развития выдвигаются изучение структуры поля аспектуальности в целом с его разнородными компонентами, раскрытие системных связей между его составляющими и функциональных потенций каждого из элементов. В свою очередь, все это зависит от соотношения языковых и неязыковых содержательных компонентов, представленной системой конкретного тюркского языка.

В конце монографии помещен обширный список литературы по аспектуальной семантике глагола.

В целом же монография Л. М. Насиловой способствует всестороннему теоретическому осмыслению затронутых в ней проблем; она стимулирует исследовательскую мысль. И в этом ее основная ценность.

*А. А. Чеченов, А. А. Кулиев*

## КИРГИЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ КЛАССИКИ<sup>1</sup>

В наше бурное перестроечное время, время осмысления и переосмысления истории советской литературы, целых ее периодов, творчества отдельных писателей, на-сущно-необходимого отказа от художочных стереотипов, нередко приходится слышать и читать о том, что такие понятия, как «взаимодействие художественных культур и литературы», «интернациональный пафос», «интернационализм», якобы утратили свое бы-лое идейно-эстетическое значение, что их содержание выхолащено, искажено и не способно стимулировать развитие национальных литератур. Подвергается сомнению целесообразность сохранения самого термина «советская многонациональная литература», сложившегося в ходе исторического развития духовной и идейно-эстетической общности национальных литератур в советскую эпоху. Вошли в обычай, стали едва ли не альтернативными углубление в национальные корни, в истоки, выдвижение на первый план национально-самобытных ценностных критериев. Однако выдвинутые в последние годы требования дальнейшей гуманизации советской культуры, приоритета общечеловеческих ценностей перед бытовавшей узкоклассовой позицией, которая нередко сводилась к вульгарно-социологическим пассажам, вымывавшим из каждой национальной культуры многие значительные явления, способствуют более глубокому и многостороннему осмыслению как прошлого, так и настоящего в культуре и литературе каждого народа. Ведь, по существу, понятия национального и интернационального не противостоят друг другу и не исключают друг друга, они диалектически едины и органически связаны. Об этом свидетельствует вся история мировой литературы, богатый художественный опыт советской многонациональной литературы. Дискредитация этих понятий происходит в тех случаях, когда в спекулятивных, национально-амбициозных целях они противопоставляются или когда недостаток профессионализма, культуры мышления порождает словесную мять, инфляцию мысли.

При этих обстоятельствах тем более от-раднo появление исследований, в которых на конкретном национальном историко-литературном материале путем изучения творчества отдельных крупных писателей эти сложные и неоднозначные проблемы рассматриваются в их историческом и функционально-эстетическом развитии, в процессе закономерных связей с другими литературными традициями, с опытом других национальных писателей.

<sup>1</sup> Лайлиева И. Д. Традиции русской классической и мировой литературы в киргизской прозе: (М. Элебаев, У. Абдукаимов, Ч. Айтматов). Фрунзе, 1988. 169 с.

С этой точки зрения киргизская литература, привлекая к себе в последние десятилетия пристальное внимание мировой литературной общности, представляет широкие и неординарные возможности для плодотворных и оригинальных сопоставлений и обобщений. Книги Бобулова, Асаналиева, Борбогулова, посвященные истории развития киргизской прозы, дают наглядное представление об особенностях формирования профессиональной киргизской беллетристики. Монографии, освещающие различные аспекты мирового значения творчества Чингиза Айтматова<sup>2</sup>, помогают осмыслению роли интернационального фактора в достижениях этой национальной литературы.

И. Д. Лайлиева, руководствуясь позитивным опытом общесоветского и киргизского литературоведения в этой области, пошла еще дальше в теоретической разработке проблематики взаимосвязей литературных традиций, в поисках веских и убедительных аргументов в пользу исторической обусловленности их закономерностей с целью доказать избирательность художественных пристрастий, осуществляемых на основе объективных законов художественного творчества, а также в зависимости от уровня художественного мышления на каждом историческом этапе развития национальной литературы.

В понимании задач своего исследования автор исходит из существования различных стадий влияния опыта литературы с большим историческим стажем на формирование и развитие молодых национальных литератур, переходящих «от простого механического подражания к сложным глубинным опосредованным связям. Сложность и многогранность самой проблемы взаимосвязей литератур постоянно ставят новые задачи, требующие своего разрешения». Разрешение же это зависит от уровня воспринимающей литературы (с. 5). Чем уровень последней выше, тем более сложные в философско-эстетическом плане явления будут ею восприняты и претворены в новую художественную реальность. Именно поэтому автор выход киргизской литературы на мировую арену связывает с завершением формирования ее как литературы национальной, которая доказала свою самостоятельность, жизнеспособность и репрезентативность (с. 6).

<sup>2</sup> См.: Гачев Г. Чингиз Айтматов и мировая литература. Фрунзе, 1982; Рыскулова Ж. М. Восприятие творчества Чингиза Айтматова в англоязычных странах. Фрунзе, 1987; Елисеев Е. Е. Многонациональная советская литература в интерпретации англоязычной советологии: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987 (см. раздел: Творчество Айтматова в западной критике) и др.

Следуя методике сравнительного литературоведения (его целям и задачам посвящена первая глава книги), И. Д. Лайлиева разбирает творчество трех киргизских писателей. Именно их достижения, по ее мнению, отражают соответственно три этапа развития киргизской литературы с точки зрения расширяющегося восприятия как опыта русской классики, так и традиций других литератур мира. Русская литература в монографии представлена мощными фигурами Толстого, Достоевского, Горького, в значительной мере определяющих развитие мировой литературы XIX—XX вв. Исходя из этого, в заглавие монографии и в ее текст следовало бы внести коррективы — снять разделительное «и»: ведь мировая литература в известной степени — это тоже целостное понятие, сокровенная суть которого не сводится к сумме составляющих ее национальных литератур.

Нам импонирует мысль автора о том, что «всякое направление, всякий писатель, сколь бы оригинальными ни были, обращаются и к классической норме и к незавершенной современности» (с. 168). На протяжении всей работы И. Д. Лайлиева стремится определить эти порой с трудом поддающиеся градации качества классической нормы. Критерии, которыми она при этом руководствуется, являются плодом самостоятельной исследовательской мысли, довольно смелых сопоставлений, сделанных на основе сравнительно-типологического анализа крупнейших произведений русской и западно-европейской прозы. Довольно удачная структура книги позволяет автору отвести разбору творчества каждого из писателей, чей творческий опыт выступает и как индивидуально-своеобразное явление в развитии национальной литературы и как определенный этап в восприятии и осмыслении опыта другой литературы, а в ней — писателя, чей жизненный и творческий путь оказывается ему в наибольшей степени близким (Элебаев—Горький, Абдукаимов—Толстой, Айтматов — активное вхождение в проблематику зарубежной литературы), отдельную главу.

Если И. Д. Лайлиева продолжит работу над темой своей монографии, то ей, на наш взгляд, необходимо будет обратить внимание на отдельные ключевые формулировки. Несколько односторонне излагается ею на с. 101 гётевское понимание всемирной литературы. Не с умиранием роли национальных литератур связывал Гёте возникновение этого понятия, а с недостаточным значением их в новую эпоху, наступившую после французской революции, — это во-первых, и, во-вторых, с необходимостью объединения разрозненных германских государств и тем самым немецкоязычных писателей-романтиков, чье значение уже не укладывалось в рамки одной лишь национальной традиции, но знаменовало собой наступление эпохи европейского романтиз-

ма. Следовало бы избегать таких «спрямляющих» параллелей, как «в творчестве выдающегося немецкого писателя Т. Манна ощущается так называемое (?) мифологическое мышление, что присуще и киргизскому писателю» (с. 100). В этой фразе несколько неточностей. Мы отсылаем И. Д. Лайлиеву непосредственно к монографии Е. М. Милетинского «Поэтика мифа», в которой эти вопросы трактуются не просто иначе, но с глубоким пониманием истории и теории мифотворчества, в свете современных толкований и художественной практики. Хотя автор и ссылается на отдельные его высказывания (см. с. 109), но делает это, похоже, опосредованно, через другую книгу, а именно работу узбекского литературоведа П. Мирза-Ахмедовой «Национальная эпическая традиция в творчестве Чингиза Айтматова» (Ташкент, 1980; см. с. 75), которая И. Д. Лайлиевой не упоминается вовсе. А это достойно сожаления, ибо П. Мирза-Ахмедова посвятила целую главу исследованию связи киргизской эпической традиции и проблематики мифологизма в творчестве Ч. Айтматова.

Нам представляется, что контекст современной киргизской литературы и в главе о творчестве Узака Абдукаимова и особенно в главе о творчестве Чингиза Айтматова должен был бы быть усилен. Ведь в разные годы было и непонимание, и противодействие их художественным исканиям: то усиливающееся, то ослабевающее. Ярые противники и горячие сторонники появились не только внутри республики, но и далеко за ее пределами. Вот почему роль русской и передовой киргизской критики, зарубежных исследователей и переводчиков в пропаганде и понимании достижений этих писателей особенно велика. Сошлемся на один из самых последних примеров — на статью А. Павловского о романе Ч. Айтматова «Плаха» (Рус. лит. 1988. № 1), в которой, на наш взгляд, дан наиболее глубокий на сегодняшний день и довольно объективный анализ этого произведения, вызывающего столь разноречивые суждения и оценки. Ведь споры, полемика до этого велись в основном вокруг главного вопроса — об органичности для киргизской литературы новаций Айтматова и его школы или о несовместимости их с фольклорно-эпическим наследием киргизов, с национальными особенностями реализма киргизской литературы.

Судя по материалам прессы, айтматовский театральные фестивалю, прошедший во Фрунзе в октябре 1988 г. по случаю шестидесятилетия писателя, многое проясняет в проблеме «Мир в Айтматове и Айтматов в мире». Обе эти грани одного процесса должны найти свое отражение в дальнейших размышлениях автора и привлечь к себе внимание общесоюзной критики.

## Х. Қ. ҚОЖАХМЕТОВА, Р. Е. ЖАЙСАҚОВА, Ш. О. ҚОЖАХМЕТОВА. ҚАЗАҚША-ОРЫСША ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІК

АЛМАТЫ: МЕКТЕП, 1988. 220 с.

«Казاخско-русский фразеологический словарь» содержит свыше 2 300 наиболее употребительных фразеологизмов современного казахского языка. Состав словаря, очевидно, определялся его назначением — быть пособием для преподавателей-филологов, переводчиков и журналистов.

Словарь составлен с учетом опыта двуязычных лексикографических изданий по фразеологии, что нашло отражение прежде всего в комплексном подходе к раскрытию значений фразеологических единиц казахского языка: буквальный перевод (что позволяет отразить образно-фоновое значение), смысловой перевод и подбор соответствий из русского языка. Этот принцип в целом выдержан в словаре. Например:

*«айды аспанға бір шығару. Букв.: луну поднять на небо. Совершать что-л. выдающуюся, из ряда вон выходящее. Перевернуть весь мир ≈ знай наших»* (с. 15);

*«төбесі көкке жеткендей болу. Букв.: словно макушка его достигла неба. Быть глубоко удовлетворенным, безгранично счастливым ≈ (быть) на седьмом небе»* (с. 175) и т. п.

Таким образом достигается наиболее полная характеристика фразеологизмов средствами русского языка, хотя по поводу порядка расположения различных способов раскрытия значений с составителями можно было бы и поспорить. На наш взгляд, буквальный перевод лучше было бы располагать в конце словарной статьи, ибо для переводчика более важен смысл фразеологизма, нежели его образная основа.

В казахской части словарных статей широко представлены лексические, морфологические варианты и факультативные компоненты фразеологизмов, что дает полное представление о структуре и функционировании этих языковых единиц:

*айдан [айдай] анық [ашық, айқын]* (с. 15);

*ай мен күндей [сұлу]* (с. 15);

*кәрі қулақ [қулақты]* (с. 95) и т. п.

В конце словаря дан алфавитный указатель русских фразеологизмов с отсылками к их аналогам в казахском языке.

Каждая фразеологическая единица казахского языка снабжена отрывками из художественных произведений, периодической печати с переводом на русский язык, что, несомненно, повышает практическое при-

менение словаря, позволяет проверить правильность переводов и приведенных соответствий.

Словарь, безусловно, являющийся удачей казахских лингвистов, не лишен и ряда досадных недостатков, упущений.

Составители нечетко сформулировали критерии отбора фразеологических единиц для словаря данного типа, поэтому не всегда ясна правомерность включения в словарь того или иного фразеологизма.

Большинство переводов выполнено удачно, но встречаются и неточно переведенные фразеологизмы: *аталы сөз* 'слово-назидание; умное слово'; точнее было бы 'весомые, значимые, мудрые слова'; *қанды балақ* 'кровожадный'; лучше было бы 'насильник, разбойник'; *үзгенілес жолдас* 'близкий друг, товарищ'; точнее было бы 'испытанный, верный друг'.

Составители сообщают, что значения казахских фразеологических единиц при переводе на русский язык в необходимых случаях сверялись по фразеологическому и толковому словарям казахского языка. Однако такая оговорка дала возможность авторам не сверять весь материал, что нашло отражение в отборе фразеологизмов. Так, например, в словник включена единица *қанды балақ*, но других единиц, не менее употребительных со словом *қанды*, в словаре не оказалось: *қанды көз* 'ясновидящий'; *қанды көйлек жау* 'враг'; *қанды қол* 'убийца'; *қанды мойын* 'преступник'.

В отдельных случаях перевод иллюстративного материала оказался неточным и даже искаженным. См., например, статьи на *ақпа қулақ* (с. 19), *буралқы сөз* (с. 55), *малма тымақ* (с. 135) и др.

Подчас иллюстративный материал не раскрывает значения фразеологической единицы, как, например, в случае с фразеологизмом *ашық ауыз* (с. 37). Фразеологическая единица *өткір тіл* (с. 151) оказалась вовсе лишенной текстовых примеров. Однако эти недостатки не умаляют ценности рецензируемого словаря: казахские языковеды подготовили добротное лексикографическое пособие по фразеологии, которое, будем надеяться, принесет немалую практическую пользу учащимся, преподавателям, широкому кругу читателей. В этом смысле его 20-тысячный тираж окажется явно недостаточным.

З. Г. Ураксин, Ф. Р. Ахметжанова

## НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

### ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ СИСТЕМ ЯЗЫКОВ АБОРИГЕНОВ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ

13—15 декабря 1988 г. в Новосибирске (в Академгородке) состоялась III Всесоюзная конференция на тему: «Исследования звуковых систем языков аборигенов Сибири и сопредельных регионов», организованная лабораторией экспериментально-фонетических исследований Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В ее работе приняли участие около 90 представителей 10 НИИ и 29 вузов из 25 городов 6 союзных (РСФСР, Казахская ССР, Узбекская ССР, Туркменская ССР, Киргизская ССР, Латвийская ССР) и 6 автономных республик (Тувинская АССР, Татарская АССР, Башкирская АССР, Дагестанская АССР, Бурятская АССР, Калмыцкая АССР), а также 2 автономных областей (Хакасская АО, Горно-Алтайская АО). Конференция подвела итоги работы фонетистов за 5 лет, прошедших после II Всесоюзной фонетической конференции (Новосибирск, 1983), определила и скоординировала задачи предстоящих исследований.

На 4-х пленарных и 3-х секционных заседаниях было заслушано и обсуждено 64 доклада (из 120 заявленных) по проблемам общей фонетики и фонологии, вопросам изучения звукового состава и систем фонем языков и диалектов Сибири и сопредельных территорий (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, обско-угорских, самодийских, енисейских, палеоазиатских) в синхронии и диахронии. Важно отметить возросший интерес фонетистов-экспериментаторов к исследованию просодических систем, морфонологических и фоностилистических процессов, перцептивной фонетики—направлениям, мало разработанным в сибирских исследовательских центрах.

Открывая конференцию, директор ИИФФ академ. А. П. Деревянко (Новосибирск) отметил актуальность задач, стоящих перед созданной заслуженным деятелем науки Тувинской АССР В. М. Наделяевым сибирской школой фонетистов. Сложившаяся языковая ситуация требует принятия экстренных мер по фиксации и всестороннему изучению языков малых народов Сибири,

претерпевших значительный урон из-за серьезных ошибок в практике проведения языковой политики, в связи с чем возникла реальная опасность исчезновения целого ряда языков, уже сейчас насчитывающих предельно ограниченное число носителей. Экология культуры, важнейшей составляющей которой является язык нации, нуждается в защите. Деятельность сибирской фонетической школы направлена на объединение усилий представителей академической, отраслевой и вузовской науки в рамках комплексной целевой программы «Культурное наследие народов Сибири и русского народа».

Большой интерес вызвал доклад В. Б. Касевича (Ленинград) «Синтагма и восприятие», в котором рассматривалась роль синтагмы как оперативной единицы в процессах восприятия речи. Приводились данные экспериментов на материале русского, китайского и японского языков, демонстрирующие разную структуру перцептивно вычленяемых синтагм в зависимости от типа языка и динамику членения на синтагмы в пределах текста.

Общим и частным вопросам тюркской фонетики было посвящено 39 докладов.

Н. Н. Широкова (Новосибирск) в докладе «О субстрате в якутском языке» проследила закономерности исторического развития переднеязычного спиранта *s* и гуттуральных, указывающие на связь якутского языка с языками циркумбайкальского региона. Это первый этап перехода *s* > *h* >  $\emptyset$  в анлауте при сохранении интервокального *-s-* и изменения дистрибуции заднеязычных и увулярных согласных. Аналогию этим изменениям автор находит в некоторых языках тунгусо-маньчжурской группы (эвенском, негидальском и др.), по не в эвенкийском, с которым якутский язык взаимодействует уже на другой территории и в более позднее время.

Ряд докладов был посвящен проблемам изучения современного состояния вокальных систем тюркских языков и территориальных диалектов. Г. В. Кыштымова (Но-

воспирск), используя комплекс субъективных и объективных методов исследования, выявила состав гласных фонем в сагайском и качинском диалектах хакасского языка, определив для сагайского диалекта инвентарь из 16 фонем, а для качинского вокализма — 17 единиц, многие репрезентации которых дифференцируются в диалектах как артикуляционно-акустически, так и функционально. Конститутивно-дифференциальные признаки, структурирующие подсистемы тюркских гласных, анализировались в докладах на бачатско-телеутском, шорском, кумандинском, чалканском, кумыкском, узбекском материале. Н. В. Гаврилин (Барнаул) в результате изучения системы гласных в языке бачатских телеутов выявил состав вокальных единиц, закономерности их функционирования и сочетаемости, системные отношения между ними, установил доминантные характеристики артикуляционно-акустической базы. Ф. Г. Циспиекова (Новокузнецк), определив в докладе «Вокализм кондомского диалекта шорского языка» основные качественные и количественные характеристики реализаций гласных в кондомском диалекте и сопоставив их с фонацией мрасских гласных, установила систему междиалектных соответствий. Существенной особенностью ряда тюркских языков Южной Сибири является позиционное удлинение широких гласных перед последующим узким гласным (Н. В. Шавлова (Новокузнецк) — «Длительность гласных в дисyllабах шорского языка», И. Я. Селютин (Новосибирск) — «Фонологизация позиционной долготы гласных в северных диалектах Алтая»). Кажущимся нарушением этой закономерности является удлинение гласных перед слогом с этимологически широким гласным, наблюдаемое в кумандинском, хакасском, шорском, чулымском и других языках, — кыпчакских или сильно кыпчакизированных. Экспериментальное исследование показало, что исключение лишь подтверждает правило: этимологически широкие гласные, сужаясь в позиции непервого слога до 3-й степени отстояния, обуславливают реализацию отмеченной тенденции. Эти факты могут быть использованы при установлении хронологии таких важнейших для кыпчакских языков процессов, как формирование гласных среднего подъема. В. Н. Кокорин (Барнаул) в докладе «Качественная неоднородность чалканских гласных» выявил корреляцию артикуляционных характеристик гласных, полученных методами пневмоосциллографирования и рентгенографирования, с акустическими параметрами вокальных единиц, констатированными спектрографическим способом. Н. Х. Ольмесов (Махачкала) в докладе «Кумыкский вокализм» представил результаты тщательного анализа дистрибуции, сочетаемости, артикуляционно-акустических параметров и функционирования гласных кумыкского литературного языка и его терри-

ториальных диалектов. С. А. Атамирзаева (Ташкент) в докладе «Градации временно-го компонента и реконструкция узбекского вокализма» показала на экспериментальном материале наличие корреляции квантитативных и квалитативных фонологических признаков гласных, многомерность этих параметров, что обуславливает постановку вопроса о пересмотре классификационной системы узбекского вокализма. Б. И. Татаринцев (Кызыл), рассмотрев особенности перехода  $a > y$  в первых слогах слов тувинского языка в ареальном, дистрибутивном и хронологическом аспектах, пришел к выводу о независимом и автономном развитии процесса сужения  $a > y$  и установил его относительную и абсолютную хронологию. Изучение артикуляционно-акустического соотношения тувинской фарингализации и горлового пения позволило К. А. Бичелдею (Кызыл) квалифицировать рассматриваемые явления как гомогантные и трактовать один из трех стилей горлового пения — сыгыт — как коррелирующий с фарингализацией гласных.

Ряд докладов был посвящен исследованию природы, характера, локализации и функционирования тюркского словесного ударения, его соотношения с синтагматическим и фразовым ударением. М. И. Трофимов (Ош), анализируя фразовое и логическое ударение в тюркских языках и трактуя фразовое ударение как компонент акцентной характеристики тюркского слова, привел ряд примеров, подтверждающих существование этого фактора как отличного от собственно словесного или тактового ударения; выступающий осветил также проблему логического ударения и его влияния на словесное ударение. Х. Х. Салимов (Елабуга) в докладе «Некоторые проблемы акцентуации татарского языка» пришел к выводу, что нельзя говорить об абсолютном приоритете какого-либо акустического параметра в формировании и восприятии татарского словесного ударения. Автор выделил в татарском языке 4 акцентных типа: ударение в конце, в начале, в середине фонетического слова и ударение, «останавливающееся» перед определенными аффиксами. В языке сибирских татар наблюдается вариативность ударения с превалированием тенденции к выделению начального слога. В докладе Т. М. Баймаханова (Джамбул) «Длительность как коррелят выделенности слога» была рассмотрена роль квантитета в создании эффекта ударенности. Соотношения английского и казахского слогов по длительности создают определенные темпоральные структурные типы двусложных и многосложных ритмических тактов, подтверждающая наличие в казахском языке ритмического ударения. Отрицая наличие словесного ударения в казахском языке, С. Б. Жанабаева (Джамбул) считает, что акцентная выделенность одного из слогов является признаком рит-

мического ударения в рассматриваемом звуковом отрезке.

В ряде докладов получили освещение актуальные направления изучения интонационных систем тюркских языков. А. Н. Нурмаханова (Алма-Ата) сообщила участникам конференции о доминирующей роли интонации в развитии структур предложений в тюркских языках, Т. С. Даркембаева (Алма-Ата) — об интонационных оттенках обращения, выявив для казахского языка 17 разновидностей их. Исследование круга вопросов, представленных в докладе С. К. Абдыгаппаровой, И. А. Майоровой, А. З. Сальменово́й, А. Э. Абдулдаевой (Алма-Ата) «Проблема системного подхода к описанию просодических характеристик дикторской речи», приводит к выводу о том, что моделирование текстов речевого воздействия зависит от учета просодического строя тюркских языков. Проанализировав роль временного компонента в эмоциональной речи узбеков, Н. Якубова (Ташкент) определила увеличение количества гласных и согласных в качестве основного маркера эмоциональной речи. К. Н. Бурнакова (Кызыл), рассмотрев в докладе «Роль структуры и семантики глагольных сказуемых в ритмомелодической организации простого побудительного предложения в хакасском языке» структурно-семантические модели глагольных сказуемых, выявила систематическую взаимосвязанность, взаимообусловленность и взаимопроникновенность этих факторов.

Тюркская диалектная фонетика была представлена двумя докладами. Изучив состав, частотное распределение и дистрибутивно-функциональные характеристики консонантов заботливого говора западно-сибирских татар и сопоставив полученные результаты с литературным языком, Д. Г. Тумашева, Т. И. Ибрагимов, Г. М. Сунгатов (Казань) представили данные к описанию фонетической системы заботливого говора западно-сибирских татар. Рассмотрев фонетические особенности речи тувинцев Северо-Западной Монголии и выявив ряд архаических черт в звуковом строе, М. Б. Мартан-оол (Кызыл) квалифицировала язык буянтских и цэнгэльских тувинцев как особый говор центрального диалекта тувинского языка, подвергшийся сильному влиянию со стороны монгольских диалектов.

В ряде выступлений были поставлены проблемы тюркской синлабики. В докладе А. Н. Быковских (Ленинград) «Фонетические характеристики казахской речи в разных условиях ее реализации» анализировались особенности манифестации слогов с точки зрения восприятия их носителями казахского языка. В докладе Т. И. Ибрагимовой (Казань) «Слогообразование и просодия слова в татарском языке» проблема слога деления трактовалась с фонетических и фонологических позиций. Приводится статистическая оценка взаимосвязи фонем

в слогах, изучаются признаки границы слога и просодии слова в микрофразах, функциональная значимость этих признаков. Б. К. Калиев (Алма-Ата), изучив фонетические варианты слова на материале названий растений в казахском языке, установил в качестве причины фонетического варьирования действие ассимилятивно-диссимилятивных процессов, элизины, протезы, метатезы, гаплогонии, чередования звуков. В докладе Д. К. Сарджаевой (Ашхабад) «Фонетическая целостность слова» на основании статистического анализа текста и словаря нашли свое отражение закономерности позиционно-комбинаторных изменений и сегментная, слоговая и акцентно-ритмическая структура туркменского слова.

«Интерферентные варианты фонетики слова» выявлены М. К. Исаевым (Алма-Ата) на основе оценки английской речи студентов-казахов информантами-англичанами; при этом отмечается большая вариативность просодических характеристик, нежели сегментных компонентов. В. А. Исаков (Барнаул), осуществив сравнительно-типологическое исследование фонетики у алтайцев-билингвов, предложил ряд рекомендаций по обучению студентов-алтайцев английскому языку, базирующихся на дифференциации фонетических систем алтайского, русского и английского языков. В коллективном докладе С. Джакнипова (Нуркус), А. Джунисбекова (Алма-Ата), Ж. Назбиева (Усть-Каменогорск) «Вопросы русско-тюркской сопоставительной фонетики» были изложены результаты сравнительного анализа гласных и согласных, а также закономерностей коартикуляции в русском, казахском и каракалпакском языках. Региональные фонетические особенности русской речи казахов методом слухового анализа исследовал Ж. Абуов (Кзыл-Орда). Р. Э. Кульшарипова (Казань) рассмотрела закономерности синлабики в русской речи нерусских в условиях межъязыковых контактов в трех стилях: научном, разговорном, художественном; модели слогов проанализированы с учетом фразовых условий текста. Основные направления тюркских фоностилистических исследований наметил Е. Н. Нурахметов (Кзыл-Орда). А. В. Есипова (Новокузнецк) заострила проблему возрождения и развития шорской письменности.

Три доклада были посвящены разработке новых и совершенствованию существующих экспериментально-фонетических методов. Б. В. Поспелов, К. И. Долотин, М. И. Каплун (Москва) показали значимость и возможность использования методов анализа и синтеза речевых сигналов в лингвистических исследованиях. Новый метод аппаратурно-программного изучения речи представили Р. К. Потапова, Н. Л. Сарсембаева, Б. А. Абдиев (Москва). Проблематике математического моделирования формантной структуры вокалических зву-

котипов и их систем был посвящен доклад А. Д. Тяпкина (Рига).

В рамках конференции под председательством В. Б. Касевича состоялся симпозиум по дискуссионным проблемам сингармонизма — явления, характерного для языков урало-алтайской типологической общности. Раскрывая специфику сингармонизма в селькупском языке и рассматривая его как остаточное явление, Ю. А. Морев (Томск) признал ведущим началом в организации селькупского слова ударение, а не сингармонизм. Оригинальная трактовка тюркского сингармонизма как нивелирующего ударение предложена А. Джунибековым (Алма-Ата) в докладе «Фонология сингармонизма и syllабическое письмо». Компромиссное решение проблемы предложил А. В. Кабанов (Абакан), по мнению которого ударение и сингармонизм сосуществуют в хакасском языке. Рассматривая сингармонизм как явление, определяющее весь фонетический облик слова — его вокализм, консонантизм и syllабикку, С. Куренов (Ашхабад) выделил для туркменского языка 12 сингармонических слоготипов. Особенности реализации губной гармонии гласных в туркменском языке и ее роль в организации фонетической цельноформленности слова охарактеризовал Д. Гок-

ленов (Ашхабад). Констатируя случаи нарушения гармонии гласных в негидальском языке, М. М. Хасанова (Владивосток) высказала предположение о начавшемся разрушении сингармонической системы, истоки которого следует искать в истории развития языка. А. Орусбаев, К. К. Умуралиева (Фрунзе) в докладе «Сингармонизм и проблема совершенствования графики и орфографии киргизского языка» обосновали несостоятельность введения в киргизский алфавит буква для обозначения глубокоязычных согласных *к* и *г*, поставили ряд новых задач по совершенствованию графики и орфографии. Важную роль сингармонизма в звуковой организации тюркского стиха показал на материале башкирских озон кюев Ф. Х. Камаев (Уфа). Дискуссии, возникшие на симпозиуме по проблемам истории сингармонизма, его характера и фонологической сущности, стали значительным шагом к достижению взаимопонимания между лингвистами.

Конференция приняла ряд постановлений и рекомендаций, направленных на расширение и углубление фонетических исследований в Сибири и сопредельных регионах.

*И. Я. Селютина*

P E R S O N A L I A

СУЮН КАРАЕВИЧ ҚАРАЕВ

(К 60-летию со дня рождения)



Исполнилось 60 лет со дня рождения кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института языка и литературы АН Узбекской ССР, заслуженного работника культуры республики, председателя Совета по топонимии Узбекского фонда культуры, действительного члена Географического общества СССР Суюна Караевича Караева.

Формирование и развитие узбекской географической терминологии последних нескольких десятилетий неразрывно связаны с именем С. К. Караева. Им впервые описано большое количество народных географических терминов Узбекистана (см.: Географические термины в зоне контактирования узбекского, киргизского и таджикского населения // Вопр. геогр.: Сб. № 81. М., 1970; Географик терминлар изоҳли лугати (в соавторстве). Тошкент, 1979 и др.). С. К. Караевым введено в научный оборот несколько географических терминов (*қирриқона* 'заповедник', *бел* 'седловина', *етимтоғ* 'останец, останцевая гора', *қир* 'возвышенность', *танги* 'теснина', *обикор* *деҳқончилик* 'поливное земледелие' и т. д.).

Большие заслуги имеет С. К. Караев в области транскрипции: им разработаны не только способы передачи географических названий СССР и зарубежных стран на уз-

бекском языке, но и способы передачи узбекских географических названий на русском языке. Многотомная «Узбекская Советская Энциклопедия» (1971—1980) в передаче географических названий во многом следует транскрипционным принципам С. К. Караева (См.: Географические названия и термины в УзСЭ. Ташкент, 1981; Транскрипция и этимология на страницах Узбекской Советской Энциклопедии // Топонимика в региональных географических исследованиях. М., 1984; СССРдаги географик номлар лугати. Тошкент, 1989).

Наиболее плодотворной сферой научных занятий оказалась для С. К. Караева «чистая» топонимика. В 1969 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему: «Опыт изучения топонимии Узбекистана» (научные руководители — профессора А. П. Дульзон и С. И. Ибрагимов).

Следует отметить также изыскания ученого в области микротопонимии (См.: Топонимы, антропонимы и этнонимы кишлака Тамтум // Опмастика Средней Азии. М., 1978) и городской топонимии (См.: Топонимы Ташкента // Звезда Востока. 1985. № 10 и др.).

Каждому, кто занимается топонимикой, в той или иной степени приходится осваивать и этимологическую проблематику. Как отмечал крупный советский топонимист Ю. А. Карпенко, этимологические исследования в топонимике по важности и трудности занимают первое место.

Этимологические штудии С. К. Караева в сфере топонимии приобрели заслуженную известность. Впервые исследователем объяснено происхождение многих названий республики (*Аблык Аламли*, *Бекабад-Беговат*, *Сувиолдуз-Сулдуз*, *Турбат*, *Ябу-Яби-Джабу* и т. д.), его выводы обоснованы и документированы. Вот характерный пример. Происхождение топонима *Далварзин* обычно вела от араб. *дал* ~ *тал* 'холм', перс. *вар* 'крепость' и перс. *зи*, *зе* 'земля'. С. К. Караев предложил свою версию происхождения топонима. По его мнению, *далварзин* восходит к монг. *дорболжун* 'четырёхугольник', 'остатки крепости', 'городище'.

Таково же, согласно С. К. Караеву, происхождение и топонимов *Дорболжун* в Киргизии и *Дилбержин* в Афганистане. В этом отношении очень характерно таджикское название Далварзинской степи — *Дилварзин*.

Исследования С. К. Караева о происхождении топонимов обобщены в его многочисленных статьях и двух топонимических словарях (См.: Географик номлар маъноси биласизми? 1970; Географик номлар маъноси. 1979).

На этимологические изыскания С. К. Караева откликнулись не только узбекские топонимисты, но и ученые за пределами республики (Э. М. Мурзаев, Г. И. Донидзе, С. Атанязов и др.).

Большой интерес представляют исследования ученого в области словообразования топонимов. По его наблюдениям, узбекские топонимы отличаются поликомпонентностью. На самом деле такие топонимы, как *Бўстон*, *Жиззах*, *Китоб*, *Чирчик*, состоят из двух компонентов: *Бўй+истон* 'Страна запахов', 'Благоухающий край', *Жиззах* ~ *Диз* + *ак* 'Малая крепость', *Китоб* ~ *Кат(и)об* 'населенный пункт у воды', *Чирчиқ* = *Сир* + *Чик* 'Малая Сыр (дарья)'.  
 Для тюркологов-ономатологов поучительны наблюдения С. К. Караева, содержащиеся в его статье «О показателях множественности в топонимах Узбекистана» (Сов. тюркология. 1979. № 5).

С. К. Караев занимается и вопросами исторической топонимики. Он первым среди тюркологов-топонимистов обратил внимание на происхождение древнетюркских топонимов Мавераннахра (См.: «Худуд ал-

а'лам» и древнетюркские топонимы Чирчик-Ахангаранской долины//Общественные науки в Узбекистане. 1978. № 4; Древние топонимы Средней Азии в согдийских документах с горы Муг//Ономастика Средней Азии: Сб. 2. Фрунзе, 1980; Древнетюркские топонимы Средней Азии//Сов. тюркология. 1985. № 5; Древнетюркские названия Средней Азии//Из истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV—XIX вв. Ташкент: Фан, 1987 и др.).

Особо можно отметить заслуги С. К. Караева в изучении этнотопонимов и их географии, ибо по узбекским этнотопонимам можно составить определенное представление о расселении узбекских племён и родов (См.: География этнотопонимов Узбекистана//Материалы XI Международного конгресса по ономастике. София, 1974. Т. 1; Этнонимика. Ташкент, 1979).

Лексикографический опыт помог С. К. Караеву принять участие в составлении двухтомного русско-узбекского словаря (Ташкент, 1983, 1984).

Ученый выступает и активным популяризатором топонимических знаний. Со страниц печати, в выступлениях по радио и телевидению он призывает сохранять исторические названия, справедливо видя в них часть культуры народа.

С. К. Караев — участник нескольких международных, всесоюзных, региональных конгрессов, конференций.

Коллеги желают юбиляру доброго здоровья и новых успехов на его научном поприще.

Ш. Шукуров, А. Меметов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Г. Ф. Благова (Москва). Лексико-синтаксический параллелизм как средство организации текста «Бабур-наме» . . . . .	3
В. Я. Пинес (Баку). Иконический аспект языковых знаков и грамматические категории тюркского глагола . . . . .	15
А. Т. Тыбыкова (Горно-Алтайск). Экспрессивные предложения с главным членом в винительном падеже в алтайском языке . . . . .	26

ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

М. А. Дурбайло (Кишинеv). Гагаузские народные баллады с образом желтой змеи . . . . .	31
---	----

ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

Р. Г. Кузеев (Уфа), Ш. Ф. Мухамедьяров (Москва). Этногенез и этнокультурные связи тюркских народов Поволжья и Приуралья: проблемы и задачи . . . . .	43
Ш. З. Бахтияев (Баку). Буртасы и чувашаи . . . . .	61

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Б. И. Татаринцев (Кызыл). Происхождение этнонима <i>топа ~ туба ~ тыва</i> и некоторых других сходных с ним наименований . . . . .	75
--	----

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Г. Мамедова (Баку). О создании банка терминологических данных азербайджанского языка . . . . .	84
С. А. Халаев (Карачаевск). К основным названиям р. Кубань . . . . .	90

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. З. Улаков (Нальчик). Проблемы совершенствования и унификации книжных терминов современного карачаево-балкарского языка . . . . .	35
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. Х. Ахматов, Ж. М. Гузеев, М. З. Улаков (Нальчик). М. А. Хабицев. Именное словообразование и формобразование в куманских языках . . . . .	93
А. А. Чеченов (Москва), А. А. Кулиев (Нахичевань). Д. М. Насилов. Проблемы тюркской аспектологии: акциональность . . . . .	99
З. Османова (Москва). Киргизская литература в контексте мировой классики . . . . .	102
З. Г. Ураксин (Уфа), Ф. Р. Ахметжанова (Алма-Ата), Х. Қ. Қожахметова, Р. Е. Жайсақова, Ш. О. Қожахметова. Қазақша-орысша фразеологиялық сөздік . . . . .	104

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

И. Я. Селютина (Новосибирск). Исследования звуковых систем языков аборигенов Сибири и сопредельных регионов . . . . .	103
---	-----

PERSONALIA

Ш. Шукуров, А. Меметов (Ташкент). Суюн Караевич Караев . . . . .	109
--	-----

C O N T E N T S

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

G. F. Blagova (Moscow). Lexical-syntactical parallelism as means of arranging the text of «Babur-name» . . . . .	3
V. Ya. Pines (Baku). Ikonic aspect of linguistic signs and grammatical categories of the turkic verb . . . . .	15

<i>A. T. Tybykova</i> (Gorno-Altaysk). Expressive sentences with the principle member in the accusative case . . . . .	26
<b>FOLKLORE. LITERATURE. CULTURE</b>	
<i>M. A. Durbaylo</i> (Kishinev). Gagauz national ballads with the image of yellow snake . . . . .	31
<b>ETHNOLINGUISTIC RELATIONS</b>	
<i>R. G. Kuzeyev</i> (Ufa), <i>Sh. F. Mukhamedyarov</i> (Moscow). Ethnogenesis and ethnocultural relations of the turkic peoples of Volga and Ural areas: problems and tasks . . . . .	48
<i>Sh. Z. Bakhtiyev</i> (Baku). Birtases and Chuvashs . . . . .	51
<b>DISCUSSIONS</b>	
<i>B. I. Tatarintsev</i> (Kyzyl). Origin of the ethnonym <i>topa~tuba~tyva</i> and some other similar names . . . . .	75
<b>MATERIALS AND REPORTS</b>	
<i>M. G. Mamedova</i> (Baku). On the creation of terminological date bank of Azerbaijani . . . . .	84
<i>S. A. Kharayev</i> (Karachayevsk). Towards the main names of the river Kuban . . . . .	90
<b>LETTER TO THE EDITORIAL STAFF</b>	
<i>M. Z. Ulakov</i> (Nalchik). Problems of perfection of the book terms in the Modern Karachay-Balkar language . . . . .	95
<b>CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY</b>	
<i>I. Kh. Akhmatov</i> , <i>Zh. M. Guzeyev</i> , <i>M. Z. Ulakov</i> (Nalchik). М. А. Хабичев. Именное словообразование и формобразование в куманских языках . . . . .	98
<i>A. A. Chechenov</i> (Moscow), <i>A. A. Kuliyeu</i> (Nakhichevan). Д. М. Насилов. Проблемы тюркской аспектологии: акциональность . . . . .	99
<i>Z. Osmanova</i> (Moscow). Киргизская литература в контексте мировой классики . . . . .	102
<i>Z. G. Uraksin</i> (Ufa), <i>F. R. Akhmetzhanova</i> (Alma-Ata). Х. Қ. Қожахметова, Р. Е. Жайсақова, Ш. О. Қожахметова. Қазақша-орысша фразеологиялық сөздік . . . . .	104
<b>SCIENTIFIC AND CULTURAL LIFE</b>	
<i>I. Ya. Selutina</i> (Novosibirsk). Research of the phonetic systems of the languages of aborigines of Siberia and nearby area . . . . .	105
<b>PERSONALIA</b>	
<i>Sh. Shukurov</i> , <i>A. Memetov</i> (Tashkent). Suyun Karayevich Karayev . . . . .	109

© «Советская тюркология», 1990 г.

Технический редактор *Б. М. Абдуллаев*  
 Корректоры: *А. А. Гусейнова, С. Дж. Эфендиева*

Сдано в набор 1.03.90 г. Подписано к печати 18. 06.90 г. ФГ 16125. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бум. л. 3,5. Физ. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.  
 Заказ 1285. Тираж 2350. Цена 1 руб. 10 коп.

Адрес редакции: 370143, Баку-143, просп. Нариманова, 31. Академгородок.  
 Типография издательства «Коммунист», Метбуат проспекти, 529 квартал.

Индекс 70927

1 р. 10 к.

124  
15